Сципион Сигеле

Преступная толпа
Опыт коллективной психологии

Москва
Академический проект
2020

УДК 159.9
ББК 88
С28

S. Sighele. La folla criminale

По изданию:

С. Сигеле. «Преступная толпа. Опыт коллективной психологии», издательство Ф. Павленкова, СПб., 1896 г.

Сигеле С.

С 28 Преступная толпа. Опыт коллективной психологии: Пер. с фр. — М.: Академический проект, 2020. — 125 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2834-0

Книга последователя французской социологической школы Сципиона Сигеле «Преступная толпа» (1892) посвящена исследованию психологии толпы, в которой на первый план выступают системные (как бы сказали мы сегодня) законы коллективной психологии.

Сигеле пытается решить проблему организации толпы, чтобы определить меру ответственности ее членов за общие деяния. Автор формулирует закономерность коллективного торможения интеллектуальной деятельности и появления аффективности в массе. Объяснение организации толпы он заимствует у Тарда: подражание путем внушения. Сигеле убежден, что толпа более предрасположена к злу, чем к добру, и может дойти до преступления. И по мере роста численности толпы интенсивность ее душевного движения возрастает.

Внушение оказывает влияние преимущественно на людей, уже предрасположенных совершить внушаемое действие. Из этого автор делает вывод об индивидуальной ответственности членов толпы за совершенные в ее составе действия.

УДК 159.9
ББК 88

ISBN 978-5-8291-2834-0

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда, несколько месяцев тому назад, было опубликовано итальянское издание этой книжки, я не смел надеяться, что она будет принята так благосклонно.

Успех ее, по всей вероятности, зависел главным образом от сюжета, «выбранного очень удачно», как писал мне Г. Тард.

Изучение преступлений толпы, конечно, очень интересно, особенно в конце нашего века, когда нет недостатка в коллективных буйствах толпы. Кажется, будто последняя хочет от времени до времени, при помощи преступления облегчить всю ту злобу и боль, которые накопились в ней от несправедливых страданий.

К тому же предмет настоящего сочинения вполне нов, несмотря на всю его социальную и юридическую важность. Наука, наравне с судебными учреждениями, никогда не предполагала, что подчас может быть виновным не отдельный индивид, а целая толпа. Когда перед судом появляется несколько человек, задержанных в толпе, судьи уверены, что перед ним находятся люди, добровольно попавшие на скамью подсудимых; между тем они — не более как потерпевшие кораблекрушение от психологической бури, которая увлекла обвиняемых без их ведома.

Итак, кроме некоторого интереса, изучение вопроса о преступлениях толпы представляет еще и необходимость.

Я попытался сделать это, хотя и весьма несовершенно, но во всяком случай так, как мне казалось лучшим. Коллективная психология — наука, находящаяся еще в младенческом состоянии; психология толпы, составляющая часть ее, и притом весьма определенную, едва только зарождается.

В этом издании я пополнил кое-какие пробелы и исправил многие ошибки, находившиеся в первом итальянском издании. Я знаю, что положил только основание длинному и трудному ряду исследований; но я буду вознагражден за свой труд, если он возбудить в других желание сделать нечто лучшее, и сочту себя счастливым, если вытекающие из моего труда юридические заключения будут приняты в судебных учреждениях.

С.С. Рим
май 1892 г.

ВВЕДЕНИЕ

СОЦИОЛОГИЯ И КОЛЛЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

От соединения личностей в результате никогда не получается суммы, равной числу их единиц.

Э. Ферри

I

«Дайте каменщику, — пишет Спенсер, — *хорошо обожженные, твердые, имеющие острые края кирпичи, и он будет в состоянии выстроить без известки очень прочную и довольно высокую стену. Наоборот, если кирпичи из плохой глины, плохо обожжены, если они кривы, поломаны, хрупки, — тогда не будет возможности выстроить без известки стену, равную по высоте и прочности первой. Положим, что рабочий трудится в арсенале над складыванием пушечных ядер; понятно, что эти сферические тела не будут относиться друг к другу так, как кирпичи. Для куч, составленных из пушечных ядер, существуют определенная формы: тетраэдра, пирамиды с квадратным основанием и тела с прямоугольным основанием, ограниченного сверху ребром. Каждая из этих форм симметрична и устойчива, что становится невозможным при других формах тел, имеющих вертикальные или очень наклоненные плоскости. Если же накладывать, вместо сферических, имеющих равный объем, ядер, неправильные, полуокругленные, имеющие различную величину, булыжники, то по необходимости нужно будет отказаться от определенных геомет-*

рических форм. Рабочий будет в состоянии получить только неустойчивую, лишенную правильных поверхностей и углов кучу.

Сближая эти факты и стремясь вывести более общую истину, мы заключаем, что характер агрегата зависит от свойств составляющих его единиц.

Если обратиться от этих видимых, осязаемых единиц к молекулярным единицам, которые, по учению физиков и химиков, образуют материальные тела, то мы придем только к подтверждению того же принципа. Для каждого из так называемых элементов, для каждой комбинации этих соединений существует особая кристаллическая форма. Хотя кристаллы и будут разниться по величине, хотя их можно изменять, уродуя их углы и грани, — тип их и строение останутся постоянными, что легко доказывается, если их расколоть. Все виды молекул имеют особенные кристаллические формы, сообразно с которыми они и соединяются между собою. Отношение между природою молекул и их способом кристаллизоваться до того постоянно, что если будут даны два вида молекул, сходных по химическим реакциям, можно с точностью предсказать, что их кристаллические формы также будут весьма близки друг к другу. Вообще, опираясь на результаты химических и физических исследований, можно смело держаться того мнения, что во всех явлениях, которые представляет нам неорганический мир, природа составных элементов определяет характер агрегата.

Этот принцип находит равным образом применение и по отношению к агрегатам, встречаемым в живой материи. В веществе всякого растения или животного находится известное стремление к воспроизведению строения этого растения или животного — стремление, подтверждающееся до очевидности в тех случаях, где условия жизни весьма просты, и где ткани не приобрели слишком нужной

структуры, чтобы иметь возможность подвергаться новым изменениям. Среди животных столь часто приводимые в пример полипы подтверждают эту истину. Если разрезать его на части, то каждый кусок будет все-таки полипом, обладающим той же организацией и теми же свойствами, что и целое животное. Среди растений разительным примером может служить бегония. *Стоить положить в землю кусок ее листа, чтобы из него развилось целое растение.*

Та же истина проявляется и в обществах, более или менее определенных, образуемых низшими существами. Будут ли эти общества представлять неопределенное скопище, будут ли они иметь известную организацию с разделением труда между отдельными членами — случай, встречающийся весьма часто, — свойства их элементов имеют определяющее значение для целого. Если нам будут даны индивиды с известной структурой и с инстинктами, являющимися результатом этой структуры, то общество, из них составленное, поневоле будет представлять определенные черты, и всякое общество, представляющее те же черты, не может состоять из членов, одаренных иной организацией и иными инстинктами»[1].

Говорить, что качества частей определяют качество целого, — значит повторять истину, хорошо применимую как к обществу, так и ко всему вообще остальному. На этой-то истине и зиждутся социологические доктрины Спенсера, считающего научной аксиомой, что главнейшие, характерные черты человеческого общества соответствуют главнейшим чертам человека.

Таким образом он подтвердил идею О. Конта, который, резюмируя ту же мысль, сказал, что *человеческое общество должно быть рассматриваемо, как одна всегда существовавшая личность*.

[1] *Спенсер Г.* Введение в изучение социологии: Пер. с англ. Гл. III.

Шопенгауэр в своем сочинении «Мир, как воля и представление» пришел к тому же заключению.

> *«С самых отдаленных времен,* — писал он, — *человека всегда рассматривали, как* микрокосм*; я опровергнул это мнение и доказал, что мир* — макантроп *в том смысле, что воля и представление дают определение сущности мира так же полно, как и сущности человека»*.

Мнение Шопенгауэра исходит из совершенно другого принципа, чем мнения Конта и Спенсера. В самом деле, философия Шопенгауэра априористична, хотя в ней и есть прекрасные места, продиктованные позитивным методом; но при всем том она представляет собой только теорию; между тем взгляды Спенсера и Конта основаны на наблюдении и опыте. Итак, хотя исходные их точки и различны, но цель достигнута одна и та же. Шопенгауэр утверждает, что мир не что иное, как *макантроп*, и этим одним словом выражает ту же мысль, что Спенсер и Конт.

Оставив на время вопрос об аналогии между человеком и человеческим обществом — аналогии, доходящей до того, что общество представляют в виде настоящего организма, возможно ли отвергать, что во всяком обществе находятся известные явления, представляющие прямой результат явлений, свойственных членам названного общества; что — другими словами — агрегат представляет ряд свойств, определяемых свойствами его составных частей? Достаточно задать себе вопрос, что произошло бы, если бы человек оказывал предпочтение тому, кто делает ему зло, — и всякий поймет, что социальные отношения были бы тогда совершенно противоположны нынешним отношениям, которые все основаны на присущей человеку склонности предпочитать тех, кто оказывает ему больше удовольствия. Достаточно спросить себя, что случилось бы, если бы, вместо выискивания самых легких средств для достижения своих целей, люди стали искать средств самых трудных, — и всякому

станет ясно, что общество, обладающее такими свойствами, не было бы ни в чем сходно с теми, какие нам известны.

Эта аналогия в строении, а следовательно, и в функциях, являющаяся вполне очевидной и неоспоримой, при сравнении человека с обществом, проявляется еще не только в главных свойствах, но даже и в некоторых незначительных чертах между индивидами, принадлежащими к определенному классу, и этим классом, рассматриваемым как коллективная единица.

Мы знаем, что общество не есть однородное, одинаковое во всех своих частях целое, — конгломерат почвенных отложений, *медленно образовавшийся из остатков бесконечного ряда существ*, что оно — организм, который, подобно телу животного, имеет ткани, различающиеся по структуре и чувствительности. Эти ткани, отложения или социальные группы, образовавшиеся понемногу в продолжении известного времени, вследствие постоянного и прогрессивного перехода от простого к сложному, от однородного к разнородному — в чем и состоит закон эволюции — эти ткани, подобно различным животным и растительным тканям, имеют органические и технические черты, свойственные каждой из них и воспроизводящие специальные свойства составляющих их индивидов.

Самое простое наблюдение доказывает нам это весьма ясно. Если мы бросим взгляд на историю, то увидим, что отделение победителей от побежденных, хозяев от рабов, знатных от плебеев — не было простым политическим и экономическим разделением, но что оно создавало совершенно различные миры. Воспитание, язык, привычки, одежда, образ жизни — все имело специфический характер, определяемый очень строгими обычаями и записанными даже традиционными правилами, уклоняться от которых считалось непозволительным.

Кому неизвестно, что аристократия (по таланту ли, денежная, или родовая), магистратура, духовенство, во-

енные, простой народ — все вообще социальные классы (воспроизводящие в наше время древние касты, с тем только различием, что у древних принадлежность к известной касте определялась рождением, у нас же она определяется свободным выбором или же избранием) представляют не только характер человека вообще, но и отличительные черты аристократа, судьи, священника или солдата в частности? Кто не знает, что привычки, идеи, чувствования, стремления, все, одним словом, функции, свойственные каждому из этих классов, очень резко отличают их один от другого?

Итак, аксиома — что характер агрегата зависит от характера единиц, его составляющих, — должна применяться не только к коллективному организму общества, но и к отдельным организмам, его составляющим.

Иначе не может и быть, т. к. если на человеческом обществе, представляющем собой только частицу Вселенной, или, вернее, частный случай всеобщей эволюции, подтверждаются все естественные законы, управляющие органическим миром, — то тем более главнейшие социальные законы должны распространяться и на те организмы, из которых оно состоит. Это — по удачному замечанию Энрико Ферри — похоже на тот случай, когда минералогические свойства кристалла воспроизводятся самым типичным образом в его осколках.

Рассматриваемая с этой точки зрения социология в своих главных чертах представляет точное воспроизведение психологии — воспроизведение, правда, несравненно более сложное и обширное. Психология изучает человека, социология занимается социальным телом; мы знаем, что характерные черты одного могут быть объяснены только свойствами другого: вот почему функции социального организма аналогичны функциям человеческого организма.

Социальная индивидуальность, сказал Эспинас, параллельна человеческой индивидуальности; социология таким образом не что иное, как психология en grand, в которой, распространяясь и усложняясь, отражаются

главные законы индивидуальной психологии; она, по прекрасному выражению Тарда, есть «солнечный микроскоп психологии».

II

Но как далеко идет эта аналогия между характером агрегата и характером единиц, его составляющих? Всегда ли постоянно отношение между психологическими законами, управляющими индивидом и управляющими группой индивидов? Всегда ли справедливо, что собрание нескольких лиц отличается определенным характером, равным сумме характеров всех лиц? Одним словом, неужели никогда не может быть исключения из вышеприведенного принципа?

Прежде чем ответить на этот вопрос, я приведу несколько общеизвестных психологических явлений: они помогут нам найти ответ, или вернее, сами будут служить ответом.

Всякий слыхал о тех ошибках, которые нередко делают присяжные. Иногда это происходит от индивидуальной неспособности или от трудности тех вопросов, которые им приходится решать; но подчас совершенно нелепое и неподходящее решение (и притом вопросов, требующих для решения только капли здравого смысла) дается и образованными людьми.

Мне, например, пришлось быть очевидцем того, как были оправданы трое молодых людей, добровольно сознавшихся в нанесении самых низких оскорблений одной бедной девушке, — негодяи мучили ее, прикладывая к нежным частям тела негашеную известь и причиняя ей, таким образом, весьма сильные ожоги. Разве, по вашему мнению, каждый из присяжных оправдал бы сам таких преступников? Я позволяю себе сомневаться в этом.

Гарофало рассказывает об опыте, произведенном над шестью известными врачами, между которыми были и знаменитые профессора: всех их попросили дать приговор относительно человека, обвиняемого в

краже. Несмотря на ясные улики, они признали его невиновным и только потом смекнули свою ошибку.

Суд присяжных в Готвьене оправдал недавно трех крестьян: отца, Жана Пузи, его жену и сына, обвиняемых в убийстве давно у них служившего бедного мальчика, который был ими замучен «en famille» с неслыханной жестокостью. Подробности убийства ужасны. Когда жертва задохлась под тяжестью Жана, последний, оскалясь, замечает: «Пожалуй, он уже мертв!». «А может быть и нет», — отвечает жена и для большей уверенности разбивает мальчику череп двумя ударами своей тяжелой палки. «Ну уж теперь-то, — говорит супруг, — я уверен, что он готов! Хорошего, нечего сказать, удалось нам поймать кролика!»

Кто бы мог подумать, что гнусное преступление этой семьи, остервенившейся на беззащитного ребенка, будет оправдано присяжными?

Но что же, однако, доказывают все эти факты и множество им подобных, которые каждый мог наблюдать лично? Они доказывают только, что двенадцать здравомыслящих и здоровых людей могут выдать решение, совершенно бестолковое и бессмысленное. Собрание индивидов может таким образом дать в результате нечто совершенно обратное тому, что было бы дано каждым отдельным индивидом.

Подобное же явление происходит в заседаниях многочисленных комиссий — художественных, научных и промышленных, — составляющих одну из самых печальных язв современной административной системы.

Часто случается, что их решения изумляют и поражают общество своей странностью. Каким образом, спрашивается, люди, подобные тем, которые вошли в комиссию, могли дать такое заключение? Каким образом могло случиться, чтобы десять или двадцать человек науки, десять или двадцать художников, соединившись, дали заключение, основанное не на принципах науки, не на принципах искусства?

Аристид Габелли, известный итальянский писатель, которого, к несчастью, Италия недавно потеряла, попытался анализировать причины этого явления.

«Говорят, — писал он, — *что комиссии, советы, одним словом, все учреждения, пользующиеся властью сообща, представляют собой гарантию против преступлений. Посмотрим, представляют ли они собой эту выгоду. В самом деле, мы даем такого рода власть с тем, чтобы извлечь себе из этого выгоду. Если же от даваемых нами полномочий нельзя получить требуемой пользы, то лишнее и давать их. Вот такого рода гарантию и представляет численность, благодаря партийному духу, благодаря тем раздорам, которые рождает корысть, — вследствие различия в мнениях и прихотях, вследствие того, наконец, что один хочет того, чего не угодно другому; что один болен, а другой путешествует etc. Часто все дело с большой потерей времени должно быть отложено, т. к. раз трудно найти во всех талант, то еще труднее найти в них решительность и стойкость. Сверх того, не чувствуя за собой ответственности, каждый старается уклониться от решения вопроса; далее, тот, кто имеет полномочия и не пользуется ими, служит помехой тому, который желает пустить их в ход; наконец,* ***человеческие силы, будучи соединены, не складываются, а уничтожаются****. Последнее до такой степени верно, что часто посредственный результат бывает плодом собрания таких людей, из которых каждый сумел бы решить тот же вопрос гораздо лучше. Люди, — говорит Габелли, — не представляют собой лошадей, впряженных в карету и тянущих ее вместе: они скорее свободные лошади, бегущие и обгоняющие друг друга»*[1].

---

[1] *Габелли А.* Образование в Италии: Пер. с ит. В той же книге Габелли применяет к частному случаю те общие идеи, который я высказал выше. «При избрании ректора — пишет он, говоря об

Эта-то мысль — что человеческие силы, будучи соединены, не складываются, а скорее уничтожаются, — высказанная Габелли только в нескольких словах и весьма, по-моему, глубокая и верная, была широко развита Максом Нордау, человеком науки, заслуживающим, как я думаю, гораздо большей известности:

«Соедините 20 или 30 Гёте, Кантов, Гельмгольцев, Ньютонов etc., — писал он, — *и дайте им на обсуждение практические, современные вопросы; их споры будут, пожалуй, отличны от тех споров, которые ведутся на первых попавшихся собраниях (хотя я не утверждаю даже и этого), но что касается результатов этих споров, то я уверен, что они не будут отличаться от результатов, даваемых всяким другим собранием. Почему же? Потому, что каждое из 20 или 30 выбранных лиц, кроме личной оригинальности, отличающей его от других, обладает и наследственными, видовыми признаками, не отличающими его не только от его соседа по собранию, но даже и от всех снующих по улице прохожих. Можно сказать, что все люди в нормальном состоянии обладают известными признаками, являющимися общими для всех, равными, положим,* ***x****, это количество увеличивается в вышеозначенных индивидах на другую величину, различную у различных индивидов, которая поэтому должна быть для каждого из них названа иначе, например,* ***a****,* ***b****,* ***c****,* ***d*** *и пр. Предположив это, мы получим, что в собрании из 20 человек, хотя бы самых высоких гениев, будет 20* ***x*** *и только 1* ***a****, 1* ***b****, 1* ***c*** *и т. д. Ясно, что 20* ***x*** *неиз-*

университетах, — случается подчас, как и при всяком другом избрании, довольно странная на первый взгляд вещь, которая, однако, не так трудно объяснима, как кажется. На некоторых выборах случается нередко, что большинство голосов получает лицо, которое каждый избиратель считает ниже себя, хотя, подавая за него голос, он ставит его выше себя. То же происходит и при выборе ректора».

бежно победят отдельные **a**, **b**, **c**, *т. е. что человеческая сущность победит личную индивидуальность, и что колпак рабочего совершенно покроет собою шляпу медика и философа»*[1].

На основании этих слов, которые, по моему мнению, представляют скорее очевидную аксиому, чем опытное доказательство, легко понять, почему не только суд присяжных и комиссий, но и политические собрания приводят в исполнение акты, самым резким образом противоречащие взглядам и тенденциям составляющих это собрание членов. Чтобы убедиться в этом, достаточно в приведенном Нордау примере вместо 20 подставить 100 или 200. Общественный здравый смысл наконец сделал то же наблюдение, взятое нами у немецкого философа. Древняя поговорка гласила: Senatores boni viri, senatus autem mala bestia (Сенаторы — почтенные мужи, сенат же — плохая скотина). И в наше время народ повторяет и подтверждает это наблюдение, говоря относительно известных социальных групп, что лица, их составляющие, — честные люди, если их рассматривать поодиночке, взятые же вместе — плуты.

Если мы от этих собраний, в которых по меньшей мере замечается известный подбор индивидов, перейдем к собраниям другого рода, образованным случайно, каковы: слушатели, присутствующие на какой-либо лекции, зрители в театре, народ в тех неожиданных скопищах, которые образуются на площадях, публичных местах и т. п., то мы увидим, что явление, нас занимающее, проявляется в более резком виде и здесь. Эти собрания людей уже вовсе не воспроизводят психологических черт тех индивидов, из которых состоят; это известно всякому и доказывать это бесполезно.

Не может быть, таким образом, и сомнения в том, что очень часто, вопреки логике, результат, данный со-

[1] *Нордау М.* В поисках за истиной: Пер. с англ. Гл. III. Мы далее еще вернемся к этому остроумному объяснению, имеющему весьма важную биологическую подкладку.

вокупностью нескольких людей, не равен тому, который должен бы получиться от сложения способностей всех собравшихся лиц. Другими словами, не может быть сомнения в том, что очень часто принцип Спенсера оказывается весьма несостоятельным, — принцип, гласящий, что характер агрегата определяется характером единиц, его составляющих. Ферри предчувствовал эту истину, говоря:

> *«Совокупность нескольких способных людей не всегда служит гарантией их общей способности: собрание здравомыслящих людей может быть лишенным единодушия, как в химии от соединения двух газов может получиться жидкость»*.

Вот почему он заметил, что между психологией, изучающей индивида, и социологией, имеющей целью целое общество, есть место для особой части науки, которую можно назвать *коллективной психологией*. Эта последняя должна заниматься исключительно такими совокупностями индивидов, каковы, например, суд присяжных, собрания, съезды, театры и пр., которые не подчиняются ни законам индивидуальной психологии, ни социологическим законам.

Интересно однако знать — независимо от того, что выяснил Нордау, — почему эти собрания людей дают результат, подрывающий аксиому Спенсера? Причин этому много, т. к. вообще причины всякого явления всегда многочисленны; но в данном случае их можно свести к двум главным, именно: собрания эти *неоднородны* и, так сказать, *неорганические*.

Очевидно — нет потому и необходимости обращать на это внимание, — что аналогия между агрегатом и составляющими его единицами возможна только тогда, когда эти единицы равны или, выражаясь точнее, весьма между собою схожи. Соединение единиц, которые отличны друг от друга, не только не даст агрегата, воспроизводящего разнообразные черты его единиц, но даже и совсем не может дать какого бы то ни было агрегата. Че-

ловек, лошадь, рыба и насекомое не могут образовать друг с другом никакого агрегата.

Здесь мы видим подтверждение встречающегося в арифметике правила, по которому для сложения нескольких слагаемых необходимо, чтобы они были однородны. Нельзя складывать фунты со стульями или монеты с животными. Если бы мы во что бы то ни стало желали сложить такие величины, то получилось бы число, не имеющее ровно никакого смысла.

Если же аналогия между характером единиц и характером их агрегата возможна только тогда, когда эти единицы имеют, по меньшей мере, хотя бы некоторую степень сходства (как, например, люди), то легко вывести логическое заключение, что аналогия эта будет увеличиваться или уменьшаться с увеличением или уменьшением сходства между составляющими агрегат единицами.

Всемирное собрание не может, очевидно, отражать в общем различные характеры индивидов, его составляющих, с той же степенью точности, с какой собрание, состоящее исключительно из итальянцев или немцев, будет отражать особенность итальянского или немецкого характера. То же можно сказать относительно суда присяжных (сопоставляя его, например, с собранием экспертов), где слепой случай рядом с бакалейным торговцем поместил человека науки; — относительно театра, где находятся лица всевозможных состояний и степеней культуры; — относительно всех вообще многочисленных и разнообразных сборищ, противопоставляя им собрания лиц известного класса или известного положения. Разнородность психологических элементов (идей, интересов, вкусов, привычек) делает в первом случае невозможным сходство в характере между агрегатами и их составными единицами, что возможно во втором случае, благодаря однородности психологических элементов.

Однако недостаточно одного только сходства между единицами, чтобы получить аналогию в характере

между ними и составленным из них агрегатом; необходимо, чтобы эти единицы находились между собою в постоянной и органической связи.

Спенсер в примере, цитированном в начале этого сочинения, привел в виде доказательства того, что свойства составных частей определяют свойства целого, тот случай, когда из твердых, хорошо обожженных, правильных прямоугольных кирпичей можно без известки построить довольно высокую стену, между тем как невозможно достичь того же, если камни будут неправильны.

Легко понять, что возможность выстроить стену не зависит в первом случае только от того, что мы будем пользоваться правильными кирпичами, вместо неправильных камней. Стена зависит еще и от того, что кирпичи эти мы будем класть в известном порядке, один на другом или один перед другим, т. е. что они будут прочно соединены между собою. Ясно, на самом деле, что смешай я эти же самые кирпичи без всякого порядка, кое-как, и агрегат, мною полученный, будет очень мало (или даже совсем не будет) разниться от того, какой бы я мог получить, смешивая камни, различные как по форме, так и по величине.

Перенеся это наблюдение на социологическую почву, мы сделаем тот вывод, что случайные, неорганические соединения людей, каковы: суд присяжных, театральные зрители, толпа, не могут, при проявлении своего характера, воспроизвести характер составных единиц, точно так же, как неопределенная и беспорядочная куча определенного вида кирпичей не может дать прямоугольной формы каждого отдельного кирпича.

Как в последнем случае, необходимо *правильное расположение* всех кирпичей, чтобы выстроить стену, так в первом случае, чтобы агрегат представлял характер своих составных единиц, необходимо, чтобы эти единицы находились в постоянной и органической связи между собою, каковы, например, члены одного и того же семейства или члены одного и того же общественного класса.

Итак, не только однородность, но и органическая связь между единицами необходимы для того, чтобы составленный из них агрегат воспроизводил их характерные особенности.

III

Простое и логическое заключение, вытекающее из сделанных нами выше наблюдений, может быть вкратце резюмировано следующим образом: Принцип Спенсера — характер агрегата определяется характером единиц, его составляющих, — совершенно точен и может быть применим во всей своей полноте в том случае, когда речь идет об агрегатах, составленных из *однородных* и *органически между собою соединенных* единиц; но он перестает быть совершенно точным и может быть понимаем только в очень узком смысле, когда говорится об имеющих *малую однородность* и *ничтожную органическую связь* единицах.

Наконец, он делается совершенно ложным и неприменимым, когда агрегат состоит из *неоднородных* и *неорганических* единиц.

Эта эволюция в применении Спенсерова принципа к человеческим агрегатам ясно указывает нам на то, что там, где эти агрегаты однородны и связаны органически, они управляются социальными законами, — которые, как мы сказали, хотя и более широки, но параллельны законам индивидуальной психологии, — тогда как, по мере того, как агрегаты делаются менее однородными и органическая связь их уменьшается, — возможность применять к ним социальные законы делается гораздо меньшей, и последние заменяются законами коллективной психологии, которые, как было сказано, совершенно отличны от законов индивидуальной психологии.

Коллективная психология занимает совершенно другую сферу и в своем развитии идет по пути, диаметрально противоположному социологии; она имеет права гражданства там, где последняя вовсе не имеет места, и

ее законы управляют там, над чем социологические законы потеряли свою власть.

Чем более временно и случайно собрание индивидов, чем более оно является неорганическим, тем далее отстоит оно от Спенсеровой аксиомы и тем скорее входит в сферу наблюдений коллективной психологии.

Среди названных нами человеческих агрегатов, более или менее разнородных и неорганических, каковы: суд присяжных, съезды, театры, вообще всякого рода кратковременные собрания, которые более чем всякие другие не подчинены законам социологии и вполне управляются законами коллективной психологии, можно, если не ошибаемся, назвать толпу.

В самом деле, толпа представляет собой человеческой агрегат, разнородный по преимуществу, т. к. она составлена из индивидов обоего пола, всех возрастов, классов, социальных состояний, всех степеней нравственности и культуры, и по преимуществу же неорганический, т. к. она образуется без предварительного соглашения, произвольно, неожиданно.

Изучение психологии толпы будет, таким образом, изучением коллективной психологии при помощи явлений, лучше, чем всякие другие, позволяющих исследовать ее законы и обнаружить их действие.

Вот скромное предположение того, что мы намерены сделать в этом сочинении, чтобы в конце концов быть в состоянии дать себе точный отчет в природе преступлений толпы и опасности их для общества.

Глава первая

Психофизиология толпы

Вопрос об уголовной ответственности сравнительно прост, если виновником преступления является одно лицо. Напротив, он значительно осложняется, когда в одном и том же преступлении участвует много лиц, т. к. тогда нужно исследовать участие, которое принимал каждый в данном преступном действии. Но вопрос делается крайне трудным, когда виновниками преступления является не несколько лиц, даже не много лиц, а очень большое число их, столь большое, что его трудно точно определить.

Приведение в исполнение присужденного наказания, легкое в первом случае и более трудное во втором, в последнем случае делается совершенно невозможным, потому что неизвестно, где найти истинных преступников, и нет, таким образом, возможности их наказать.

Как же тогда поступают? Одни, следуя ужасному военному закону наказания через 10-го, т. е., наказав нескольких человек, с успехом, но часто без всякого смысла, прекращают в толпе волнение и внушают ей страх. Другие, следуя примеру Тарквиния (что, бесспорно, будет более логично, но все же далеко не вполне справедливо), рассуждавшего, что для победы над врагами необходимо поражать самых высоких, — наказывают главных зачинщиков и подстрекателей, в которых никогда нет недостатка в толпе.

Поставленные между этими двумя нелогичными выводами, народные судьи часто оставляют всех на свободе, поступая таким образом, по словам Тацита, сказавшего, что «там, где виновных много, не должно наказы-

вать никого». Это и будет тот случай, когда, как говорит Пеллегрино Росси, благодаря глупому рассуждению, виновные остаются безнаказанными.

Но справедлива ли безнаказанность? Если она справедлива, то на каком основании? Если же наоборот, то каким же тогда образом противодействовать преступлениям, совершаемым толпою? Ответить на эти вопросы и будет целью нашего сочинения.

I

Классическая школа уголовного права никогда не задавала себе вопроса, должно ли преступление, совершенное толпою, наказываться так же, как преступление одного человека. И это было вполне естественно. Ей было совершенно достаточно изучить преступление, как юридическую субстанцию; преступник был у нее на втором плане; это был *X*, которого не хотели и не умели определить. Для нее очень мало значения имело то обстоятельство, происходил ли преступник от эпилептических или пьянствующих родителей, или же от здоровых; принадлежал ли он к той или другой расе, родился в холодном или жарком климате, был ли он до этого хорошего или дурного поведения. Знание условий, при которых было совершено преступление, тоже казалось ей не имеющим значения. В ее глазах, как бы преступник ни действовал: один ли, или под влиянием толпы, возбуждавшей и опьянявшей его своими криками, — всегда причиной, толкавшей его на преступление, была его свободная воля. За один и тот же проступок всегда назначалось одно и то же наказание.

При таком юридическом принципе действия судей были логичны; при отсутствии же этого принципа их выводы должны были пасть сами собой. Это и случилось.

Позитивная школа доказала, что свободная воля — иллюзия сознания; она открыла неизвестный до сих пор мир антропологических, физических и социальных факторов преступления и подняла до юридического принципа идею, которая бессознательно уже чувствова-

лась всеми, но не могла найти себе места среди строгих юридических формул, — идею о том, что преступление, совершенное толпою, должно судиться отлично от того преступления, которое совершено одним лицом, и это потому, что в первом и во втором случаях участие, принимаемое антропологическими и социальными факторами, совершенно различно.

Пюльезе первый изложил в брошюре, озаглавленной «О коллективном преступлении», доктрину уголовной ответственности за коллективное преступление. Он допускает полуответственность для всех тех, которые совершили преступление, увлеченные толпой.

> *«Когда,* — писал он, — *преступником является толпа или бунтующий народ, то индивид не действует, как отдельный элемент, но представляет собой каплю выступившего из берегов потока, и руки, которыми он наносит удары, как бы сами собой превращаются в бессознательное орудие».*

Я пополнил мысль Пюльезе, попытавшись при помощи некоторого сравнения дать антропологическую подкладку его теории: я сравнил в последующих главах преступление, совершенное под влиянием толпы, с преступлением отдельного лица, совершенным под влиянием страсти.

Пюльезе назвал *коллективным преступлением* то странное и сложное явление, когда толпа совершает преступление, увлеченная чарующими словами демагога или раздраженная каким-нибудь фактом, который является несправедливостью или обидой по отношению к ней, или хотя бы кажется ей таковым. Я предпочел называть такой факт просто *преступлением толпы*, т. к., по моему мнению, существуют два вида *коллективных преступлений*, которые необходимо ясно различать: есть преступления, совершенные вследствие общего всему агрегату природного к ним влечения, каковы: разбой, каморра, мафия, и есть преступления, вызванные страстями, выражающиеся самым ясным образом в преступлениях толпы.

Первый случай аналогичен преступлению, совершенному прирожденным преступником, а второй — такому, которое совершено случайным преступником.

Первое всегда может быть предупреждено, второе — никогда. В первом одерживает верх антропологический фактор, во втором господствует фактор социальный. Первое возбуждает постоянный и весьма сильный ужас против лиц, его совершивших; второе — только легкое и кратковременное спасение.

Итак, предложенная Пюльезе полуответственность за преступления, совершенные толпою, была справедлива если и не сама по себе, то как средство достичь намеченной цели.

Самым лучшим достижением желанной цели в каком-нибудь частном случае будет, по-видимому, применение полуответственности, т. к. при этом *преступление массы* будет наказано с большей снисходительностью, чем преступление одного индивида.

Но, говоря научным языком, полуответственность равносильна абсурду, особенно в глазах людей, держащихся того мнения, что человек всегда вполне ответствен за все свои поступки.

Позитивная теория должна быть обоснована иначе.

Нам незачем искать, ответственны или полуответственны виновники преступления, совершенного разъяренною толпою, — старые формулы, выражающие глупые идеи; мы должны только найти наиболее целесообразный способ для того, чтобы им противодействовать. Вот задача, которую нам необходимо решить.

II

Прежде чем определить болезнь и прописать лекарство, необходимо сделать ей диагноз. Точно так же, прежде чем рассуждать о том, что такое преступление толпы и какие существуют средства для его уничтожения, необходимо сначала изучить его в его проявлениях.

Итак, прежде всего мы исследуем, какие чувства заставляют толпу действовать, и затем попытаемся изложить ее психологию.

> «*Толпа*, — писал Тард, — *это груда разнородных, незнакомых между собою элементов. Лишь только искра страсти, перескакивая от одного к другому, наэлектризует эту нестройную массу, последняя получает нечто вроде внезапной, самопроизвольно зарождающейся организации. Разрозненность переходит в связь, шум обращается в нечто чудовищное, стремящееся к своей цели с неудержимым упорством. Большинство пришло сюда, движимое простым любопытством; но лихорадка, охватившая нескольких, внезапно завладевает сердцами всех, и все стремятся к разрушению. Человек, прибежавший только с тем, чтобы воспрепятствовать смерти невинного, одним из первых заражается стремлением к человекоубийству и, что еще удивительнее, совершенно не удивляется этому*».

Что непонятно в толпе, так это ее внезапная организация. В ней нет никакого предварительного стремления к общей цели, следовательно, невозможно, чтобы она обладала коллективным желанием, обусловленным возбужденными элементарными силами всех составляющих ее лиц. Между тем, среди бесконечного разнообразия ее движений мы видим некоторую целесообразность в поступках и стремлениях и слышим определенную ноту, несмотря на диссонанс тысячи голосов. Само слово *толпа*, как имя собирательное, указывает на то, что масса отдельных личностей отождествляется с одной личностью. Таким образом, является настоятельной необходимостью определить — хотя бы и не было возможности дать себе в этом ясного отчета — действие того *нечто*, которое служит причиной единства мыслей, наблюдаемого в толпе. Это нечто не есть появление на сцене самых низких умственных сил и вместе с тем не может претендовать на степень известной интеллекту-

альной способности; поэтому наиболее подходящим для него определением будет: *душа толпы*.

Откуда же берет начало эта *душа толпы*? Возникает ли она каким-нибудь чудом? Представляет ли она явление, от объяснения причин которого должно отказаться? Основывается ли она на какой-нибудь примитивной человеческой способности? Как объяснить, что какой-нибудь сигнал, голос, крик одного индивида увлекает подчас к самым ужасным крайностям целые народы, даже без всякого с их стороны согласия?

По мнению Бордье, причиной этого: «способность подражания, имеющая целью — подобно диффузии газов, стремящейся уравновесить газовое давление, — уравновесить социальную среду во всех ее частях, уничтожить оригинальность, сделать однообразными характерные черты известной эпохи, известной страны, города, малого кружка друзей. Каждый человек расположен к подражанию, и эта способность достигает maximum'а у людей, собранных вместе. Доказательством последнему могут служить театральные залы и публичные собрания, где малейшего хлопанья руками, малейшего свистка достаточно, чтобы побудить к тому или другому всю залу».

И действительно, стремление человека к подражанию — одна из самых резких черт его природы; это — неоспоримая и неоспариваемая истина. Достаточно бросить взгляд вокруг себя, чтобы увидеть, что весь социальный мир представляет собой не что иное, как ряд сходств, произведенных разнообразными видами подражания: подражанием-модой или подражанием-привычкой, подражанием-симпатией или подражанием-повиновением, подражанием-образованием или подражанием-воспитанием, наконец, добровольными рефлективными подражаниями[1].

С известной точки зрения общество может быть уподоблено спокойному озеру, в которое от времени

[1] *Тард Г.* Законы подражания. СПб., 1892. Гл. I.

до времени бросают камни; волны расширяются, распространяясь все дальше и дальше от того места, где упал камень, и достигают наконец берегов. То же бывает в мире с гением: он бросает идею в стоячее болото интеллектуальной посредственности, и эта идея, найдя сначала немного последователей и плохую оценку, распространяется впоследствии подобно волне на гладкой поверхности озера.

Люди, по словам Тарда, это — стадо овец, среди которых рождается подчас глупая овца, гений, которая одною только силою примера увлекает за собою других.

И в самом деле, все существующее, представляющее результат человеческого труда — начиная от материальных предметов и кончая идеями — представляет собою подражание или более или менее измененное повторение идей, открытых когда-то более высокой личностью. Подобно тому, как все употребляемые нами слова, сделавшиеся в настоящее время весьма обыкновенными, были некогда новыми, точно так же и то, что сегодня известно всем, некогда было весьма оригинальным, принадлежа только одному лицу.

Оригинальность, по весьма остроумному замечанию М. Нордау, есть не что иное, как зародыш банальности. Если оригинальность не заключает в себе условий для дальнейшего существования, то она не находит подражателей и погибает в забвении, подобно тому, как проваливается комедия, освистанная при первой постановке на сцене; если же, наоборот, она заключает в себе зародыш добра или пользы, то подражатели ее увеличиваются до бесконечности, как и число представлений какой-нибудь драмы.

Сущность тех идей, которые мы сегодня презираем, благодаря их общеизвестности, была плодом умозаключений древних философов, и самые общие места самых обыкновенных споров начали свою карьеру блестящими искрами оригинальности.

То же самое встречается и в истории великих событий, то же — в хронике общественной жизни. Весь

мир — самые серьезные и самые легкомысленные люди, самые старые и самые молодые, самые образованные и невежи — все обладают, хотя и в различной степени, инстинктом подражания тому, что видят, слышат, знают. Направление общественного мнения — в политике, как и в торговле, — всегда определяется этим инстинктом.

> *«Сегодня,* — говорит Беджот, — *вы видите людей капитала предприимчивыми, возбужденными, полными силы, готовыми купить, готовыми отдавать приказания; неделей позже вы увидите их почти всех унылыми, беспокойными, мучающимися мыслью: как бы продать. Если вы станете доискиваться причин этого пыла, этой вялости, этой перемены, то вы навряд ли их найдете; если же и сумеете открыть, то они окажутся имеющими очень мало значения. Причин этому, на самом деле, нет никаких, а есть только инстинкт подражания, направивший общественное мнение в ту или другую сторону. Случись, например, что-нибудь, что может казаться почему-либо радостным, тотчас же пылкие самонадеянные люди подымут голос, и толпа, следуя их примеру, делает то же. Несколько дней спустя, когда уже надоест говорить одним и тем же тоном, случается опять что-нибудь, что на этот раз может казаться несколько менее приятным; тотчас же начинают говорить люди с печальным и беспокойным характером, и то, что они говорят, повторяется всеми остальными»*.

То, что происходит в политике и торговле, встречается и во всех видах человеческой деятельности. Все, начиная с покроя платья и кончая управлением, честные поступки и преступления, самоубийства и сумасшествие, все, как самые ничтожные по значению, так и самые великие, как самые печальные, так и самые веселые проявления человеческой жизни, — все является продуктом подражания. Таким образом весьма

естественно, что это врожденное человеку и животным свойство не только удваивается, но делается даже и во сто раз больше среди толпы, где у всех возбуждено воображение, где единство времени и места ускоряет необычайным, даже страшным образом обмен впечатлений и чувств.

Но сказать, что человек *подражает* — для нас, в данном случае, объяснение весьма недостаточное; нам нужно знать, *почему* человек подражает, т. е. нам нужно объяснение, не ограничивающееся поверхностной причиной, но открывающее основную причину явления.

Многие писатели, заметив, что подражание принимает подчас весьма резкие формы, распространяясь широко и с большой интенсивностью, и видя сверх того, что оно в некоторых случаях является скорее бессознательным, чем добровольным, пытались объяснить это явление, прибегая к гипотезе о нравственной эпидемии.

> *«В явлениях подражания,* — говорит доктор Эбрар, — *есть нечто таинственное, какое-то притяжение, которое лучше всего можно сравнить с неотразимым и всемогущим инстинктом, побуждающим нас, почти без нашего сознания, повторять те действия, которых мы были свидетелями, и которые очень сильно подействовали на наши чувства и воображение. Такого рода действия до того распространены и настолько достоверны, что мы все в большей или меньшей степени подвержены их власти. В них есть особого рода обаяние, против которого не могут устоять некоторые слабые натуры».*

Жоли выразился еще яснее:

> *«Подражание, это — настоящая эпидемия, зависящая от примера так же, как возможность заразиться оспой зависит от того яда, при помощи которого последняя распространяется. Подобно тому, как в нашем организме находятся болезни, которые ждут самой ничтожной причины, чтобы развиться, точно так же в нас находятся страсти,*

которые остаются немыми, когда работает рассудок, и которые могут проснуться благодаря одному только подражанию».

Депин, Моро де Тур, а впоследствии и много других писателей присоединились к Эбрару и Жоли, и все единодушно уверяли, что нравственная эпидемия так же достоверна, как и другие физические эпидемии.

> *«Подобно тому,* — говорил Депин, — *как звук известной высоты заставляет колебаться настроенные в унисон струны, точно так же проявление известного чувства или страсти возбуждает тот же элемент, делает его деятельным, приводит его, так сказать, в колебательное движение у всякого индивида, способного по своему нравственному уровню более или менее сильно испытать данное чувство»*[1].

При помощи этой метафоры, если не глубокомысленной, то остроумной, освещающей гипотезу нравственного заражения, многие пытались объяснить не только самые общие, естественные и постоянные случаи подражания, но также более редкие и странные случаи, — эти настоящие эпидемии, распространяющиеся от времени до времени и относящиеся к тому или другому явлению.

На этом основании нравственной эпидемией объяснялись эпидемии самоубийства, следовавшие за какимнибудь знаменитым самоубийством, весьма сильно заинтересовавшим общественное мнение; равным образом от нравственной эпидемии считали зависящими

[1] Сила эпидемии в самоубийстве проявляется более, чем во всех, может быть, других явлениях этого рода. Известен случай, когда в 1772 г. 15 инвалидов повесились один за другим на одном и том же крюке, находившемся в темном коридоре инвалидного дома, в продолжение очень короткого промежутка времени. Известно также, что после того, как какой-то лорд, получивший отвращение к жизни, бросился в кратер Везувия, много англичан следовало его примеру. Можно было бы привести здесь массу подобных фактов.

преступления, следовавшие за каким-нибудь зверским преступлением, о котором много кричали в журналах; по той же самой причине нравственную эпидемию считали причиной тех политических и религиозных движений, которые сразу увлекали целые народы за смелыми словами вдохновленного трибуна или демагога.

На том же основании — если не на большем — мы можем приписывать нравственной эпидемии все неожиданные и на первый взгляд необъяснимые народные манифестации.

Но удовлетворительно ли подобное объяснение? Разве между *нравственным заражением* и *подражанием*, при желании объяснить себе это явление, мы видим что-нибудь, кроме разницы в выражениях?

Легко понять, что для того, чтобы сделать объяснение удовлетворительным, нам необходимо знать, каким образом распространяются эти нравственные эпидемии. Иначе мы не подвинемся ни на шаг.

Тард уже более семи лет тому назад понял эту необходимость и предложил новую тогда и очень смелую гипотезу, что нравственные эпидемии имеют причину в явлениях внушения.

> *«Какова бы ни была клеточная функция, вызывающая мышление,* — писал он, — *нельзя сомневаться, что она воспроизводится, повторяется внутри мозга в каждое мгновение нашей умственной жизни, и что всякому понятию соответствует определенная клеточная функция. Только такое бесконечное, неистощимое существование этой сложной функции и образует память или привычку, смотря по тому, заключено ли данное многократное повторение в нервной системе или же оно, выйдя из ее пределов, овладело мускульной системой. Память, если угодно, является, таким образом, чистой нервной привычкой, привычка — мускульной памятью».*

Если же (я резюмирую теорию Тарда) каждая идея или образ, о которых мы помним, были заложены пер-

воначально в нашем мозгу, благодаря разговору или чтению; если всякое привычное действие ведет свое начало или от непосредственного наблюдения, или только от знания об аналогичном действии, производимом другим, — то ясно, что эта память и эта привычка, прежде чем сделаться бессознательным подражанием, были более или менее сознательным подражанием внешнему миру.

Таким образом, с психологической точки зрения вся интеллектуальная жизнь есть не что иное, как внушение, передаваемое одной мозговой клеткой другой; рассматриваемая же с социальной точки зрения, с целью доискаться основной причины, она не что иное, как влияние (suggestion) одной личности на другую.

Теория эта, одобренная большим числом известных философов (Тэн, Рибо, Эспинас и др.), кажущаяся мне замечательной по своей простоте, не приобрела себе, однако, многих учеников, которые сейчас же стали бы ее распространять; зато она имела честь видеть, как, спустя несколько времени, там и сям стали появляться новые теории, воспроизводившие ее в ее сущности, хотя их авторы, конечно, и не знали об ее существовании.

Такова, например, теория Серги (Sergi), который в своей книжке, озаглавленной *Psicosi epidemica*, развил совершенно самостоятельно неизвестные ему теории Тарда.

Серги, целиком воспроизводя Тарда, имеет, однако, перед ним то преимущество, что не останавливается над обобщениями, и что ему неизвестна нерешительность французского философа; он более ясно и более точным образом излагает то, что можно назвать *физическим основанием* внушения. Вот почему я считаю полезным привести здесь его собственные слова.

> ***«Душа,*** — говорит он, — *это общий вид активности, тождественный всякой другой без исключения органической активности. Всякий, имеющий понятие об этого рода активности, знает, что*

деятельность органической ткани возбуждается только при помощи раздражителей. Когда последняя возбуждена каким-нибудь внешним агентом, то она обнаруживает деятельность, пропорциональную природе и силе возбудителя.

Примером может нам служить мускульная ткань: в самом деле, мы видим, что мускулы сокращаются только тогда, когда какой-нибудь внешний деятель пробуждает в них эту способность. Это происходит благодаря находящейся в них душе; но в последней нет ничего самопроизвольного, ничего автономного: она проявляет активность, когда ее возбуждают, и это проявление вполне зависит от природы возбудителей.

Я нахожу ***восприимчивостью*** *— способность принимать извне впечатления и* ***рефлексом*** *— способность обнаруживать возбужденную активность, сообразно с полученными впечатлениями. Оба эти условия могут соединиться в один основной закон души —* ***рефлекторную восприимчивость****.*

Уже долгое время некоторые психиатры занимаются явлениями внушения во время гипноза и думают, что это явление бывает вообще тогда, когда объекты их исследования находятся в гипнотическом сне. Они не заметили, что так называемое ими внушение *является весьма резким проявлением основных элементов души, что это — восприимчивость, доходящая до болезненности, благодаря которой явления принимают весьма резкую форму и делаются более очевидными, чем в нормальном состоянии. Гипнотическое внушение открывает только те состояния, к которым душа предрасположена, ее основные условия, по которым она действует. Внушение сводится, таким образом, на вышесказанную восприимчивость, которая в свою очередь сводится к основному закону организма, что последний может быть приведен в действие только от полученных стимулов».*

Таким образом, по Серги и Тарду, всякая идея, всякое душевное движение индивида — не что иное, как рефлекс на полученный извне импульс. Итак, всякий движется, действует, думает только благодаря некоторому внушению, которое может возникнуть от рассматривания известного предмета, от произнесенного перед нами слова или звука, от какого бы то ни было движения, произведенного вне нашего организма. Это внушение может распространиться или только на одного индивида, или на нескольких, или даже на большое число лиц; оно может распространиться подобно настоящей эпидемии, далеко в обществе, оставляя одного совершенно свободным от своего влияния, других — слегка задетыми, третьих — пораженными весьма сильно. В последнем случае явления, которые оно производит, как бы они ни были странны или ужасны, являются самой высокой степенью, более резким выражением простого, непременного явления внушения, представляющего первую причину всякого психологического явления. Варьирует только интенсивность явления, природа же его — всегда одна и та же.

Благодаря этому удачному выводу, Тард и Серги явление подражания, наблюдаемое у большого числа людей, сводят на менее резкое явление подражания, свойственное отдельному лицу; эпидемическое подражание они приравнивают подражанию спорадическому и объясняют как то, так и другое внушением, причину и основные свойства которого они объясняют тут же.

Мы видим, что эта теория подтверждается всеми формами и видами человеческой деятельности.

Кто станет утверждать, смотря на отношения между наставником и учеником и на подражание последнего первому, — основанное на симпатии и на бессознательном и инстинктивном удивлении, — что в них не проглядывает внушение? Кто в состоянии отвергать, что эти отношения, возникшие первоначально между двумя лицами, представляют собой примитивную форму, зародыш того внушения, которое может возникнуть позднее

между одним и многими, между главою научного, политического или религиозного учения и его учениками, адептами, единоверцами? Кому непонятно, что такого рода эпидемическое внушение — высшая степень первоначального единичного внушения.

Всякий вынужден согласиться, что подобное эпидемическое внушение может сделаться больше как по интенсивности, так и по распространенности, если этому благоприятствуют условия места и характер лиц, от которых оно исходит и на которых оно действует.

Убеждения некоторых политических и религиозных сект доходят подчас до того, что обращаются в настоящее эпидемическое сумасшествие. Начиная от древних арабских и индийских дервишей до демономаньяков Средних веков, которых последние остатки встречаются еще и теперь в Италии; от кликуш, перфекционистов, шекеров Северной Америки до штундистов, шелапутов и скопцов России; от народных масс, ведомых Иудой Голонитом и Теудой, предшествующих возникновению христианства, до тех, которые предшествовали возрождению Германии, — во всем этом мы имеем бесконечное разнообразие нравственных эпидемий, эпидемических психозов, которые сначала поражают нас совершающимися благодаря им жестокостями и гнусностями, но которые, будучи исследованы, представляют собой, в сущности, болезненное преувеличение акта внушения, являющегося самым всеобщим законом социального мира.

Подобно тому как, говоря о нормальной жизни, мы можем от влияния (suggestion) одного индивида на другого, учителя на ученика, сильного на слабого и т. д., поднятые до влияния одного лица на целую толпу, до влияния гения мысли или чувства на всех своих современников, главы секты на ее членов, — точно так же, говоря о болезненном случае, можно от влияния одного сумасшедшего на другого сумасшедшего же подняться до влияния сумасшедшего на всех его окружающих.

Последнее служит доказательством не только того, что патология управляется теми же законами, что и физиология, но и того, что внушение — универсально.

Легран Дюсоль прекрасно описал сумасшествие вдвоем; эта странная форма умопомешательства происходит от того влияния, которое оказывает помешанный на индивида, склонного, конечно, к такого рода болезни, который мало-помалу теряет рассудок и получает ту же форму помешательства, что и его подстрекатель.

С этого времени между такими двумя личностями появляется известного рода зависимость; один господствует над другим; последний представляет собой эхо первого: он делает то, что делает первый, и сила его подражания до того велика, что подчас он видит те же галлюцинации, что и его товарищ.

От этого умопомешательства вдвоем (представляющего в болезненном виде то же, что и влияние учителя на ученика, одного из двух влюбленных на другого — в нормальной жизни) можно подняться до сумасшествия втроем, вчетвером, впятером и т. д.[1], что происходит так же, как и сумасшествие вдвоем. Сумасшедший всегда оказывает влияние на своих родителей, на тех, кто постоянно около него; своим примером он сообщает им свои больные идеи и расстроенные способности; понемногу он достигает того, что сознание у них затемняется и уступает место сумасшествию, которое проявляется или в совершенно такой же форме, как и у него, или же в более легком виде.

Кроме этих достоверных фактов внезапного коллективного умопомешательства, все единодушно припи-

---

[1] Роскиоли приводит случай сумасшествия вчетвером. У честных и работящих супругов было три дочери. Младшая, молодая 19-летняя девушка, неожиданно подверглась в церкви острым припадкам помешательства и в таком состоянии была приведена домой. Это так подействовало на отца, что, спустя только 8 дней, он находился уже в беспокойном состоянии панофобии. Спустя немного и мать подверглась той же участи, и, наконец, через 15 дней старшая дочь также была охвачена умственным исступлением.

сывают сумасшедшему способность внушения — менее интенсивную, но более общую — по отношению ко всем его окружающим.

«Живя постоянно с лицами, бессвязно думающими, нелогично рассуждающими и поступающими, — говорит Рамбосон, — *наш мозг, получая от них постоянно ненормальные толчки, стремится принять то же направление, и оно, благодаря своему влиянию на наши интеллектуальные способности, заставляет нас подражать их поступкам».*

«Даже один вид больного, — писал Сепилли — *высказываемые им идеи возбуждают в мозгу лиц, его окружающих, те же самые образы, чувства и движения, могущие, смотря по своей интенсивности и продолжительности, более или менее изменить человека».*

Еще до этого относительно сожительства с сумасшедшими Маудсли писал следующее: «Никто не может привыкнуть к непоследовательности в мыслях, чувствах и поступках без того, чтобы искренность и цельность его характера не получили некоторого удара, чтобы не уменьшились ясность и сила его ума».

Кроме такого главного, но медленного, малоинтенсивного, непредвидимого заражения, существует среди умалишенных (особенно у эпилептиков) непосредственное, быстрое, как молния, заражение. Последнее явление отлично от приведенных выше, но причины и происхождение его одинаковы: это — внушение (suggestion).

Ван-Свитен заметил, что конвульсивные движения, проявляемые некоторыми детьми, воспроизводятся всеми, кто имеет несчастье быть тому свидетелем. Общеизвестен факт, имевший место в Гарлемском госпитале, где одна молодая девушка, пораженная эпилепсией, внушила моментально эту болезнь всем остальным больным.

Та же постепенность в явлении внушения — одного на другого, одного на нескольких человек, одного на многих, — которую мы видели в *умопомешательстве*,

целиком воспроизводится и в *самоубийстве*, и в *преступлении*.

Что касается самоубийства, то существует *самоубийство вдвоем*, например, двух влюбленных, из которых один убеждает, внушает другому умереть с ним вместе, — форма весьма частая в наше время; *самоубийство втроем, вчетвером, впятером*, самоубийство целых семейств, которые решаются покончить с жизнью почти всегда вследствие нужды, до которой они бывают доведены. Обыкновенно у отца является мысль о самоубийстве; он сообщает ее своей жене и детям и заставляет их последовать своему примеру. Я здесь могу привести два типичных случая одновременного самоубийства нескольких человек: один с семьей Гейем (отец, мать, четверо детей), члены которой покончили с собой при помощи угара в 1893 г. в Париже, и другой — с бретанской семьей Поль (отец, мать и трое детей), бросившейся в море в 1885 г. Существуют еще, наконец, и *эпидемические самоубийства*, чему можно привести массу примеров. По Эбрару, в Лионе некоторые женщины, разочаровавшись в жизни, бросались по двое и по трое вместе в Рону. В Марселе несколько молодых девушек сообща лишили себя жизни из-за любви.

Что касается преступления, то о нем можно повторить буквально то же, что и о самоубийстве: существуют преступления, совершенные вдвоем, причем прирожденный преступник влияет (suggestionne) и увлекает за собой случайного преступника, делая его своим рабом; существуют *преступные ассоциации*, главы которых увлекают юных случайных преступников единственно силою своей воли и той нравственной властью, которою они пользуются над ними. Существуют, наконец, и *эпидемии преступления*, имеющие место преимущественно среди многочисленных разбойничьих банд, и особенно в преступлениях против нравственности. Когда бедная девушка делается жертвою многих негодяев, они не довольствуются ее обесчещением; достаточно одному из них сделать попытку к ее истязанию, чтобы все его

сотоварищи, находясь в настоящем исступлении, стали ему сейчас же подражать. Это именно и случилось с одной несчастной женщиной, которая, будучи схвачена и изнасилована шайкою в 15 человек, должна была потом переносить самые гнусные жестокости. Один из разбойников показал пример; остальные моментально стали ему весьма охотно подражать, распевая и прыгая около тела несчастной.

Не приводя других примеров, я полагаю, что нарисованная нами картина тех форм внушений, которые наблюдаются в сумасшествии, самоубийстве и преступлении, вполне соответствует формам внушения, проявляемым в нормальном состоянии. Во всех этих состояниях вырождения, как и в нормальном состоянии, внушение начинается с простого случая, который можно назвать подражанием, и понемногу развивается, распространяется и достигает до коллективных и эпидемических форм, до настоящего неистовства, когда уже движения становятся непроизвольными, совершающимися почти с неудержимою силой.

Итак, неужели не очевидно, что такое внушение должно быть также причиною и манифестаций толпы? Неужели не очевидно, что и среди толпы крик одного человека, слова оратора, поступок нескольких смельчаков — являются внушением по отношение ко всем тем, кто слышит этот крик и эти слова, или видит этот поступок, и что оно доводит их, как покорное стадо, даже до преступных деяний? Не ясно ли, что в толпе-то именно и проявляется самым резким образом явление внушения и что там оно переходит от формы *вдвоем* к *эпидемической*, т. к. в толпе единство времени и места и непосредственное общение индивидов доводят быстроту эмоционального заражения до nec plus ultra[1].

Я надеюсь, что никто не ответит отрицательно на эти вопросы; однако, чтобы лучше уяснить, каким образом внушение оказывает в толпе свое действие, т. е.

[1] Здесь — до высшей точки (*лат.*).

каким образом то или другое чувство (например, страха или гнева), проявившееся у одного индивидуума, распространяется на множество лиц, я приведу несколько прекрасных мест из книги Эспинаса «Социальная жизнь животных», переведенной на русский язык.

В них мы найдем — весьма ясно и точно — физиологическое объяснение психологии толпы.

Известный французской натуралист, говоря о возникших из семьи обществах, и приводя в пример ос, замечает, что у этих животных разделение труда достигло большого совершенства, и что есть даже осы, исключительно предназначенные для забот об общественной безопасности. Дело происходит при этом так: гнездо охраняется часовыми, оберегающими вход; заметив опасность, они входят внутрь и уведомляют об этом других ос, которые в гневе вылетают и жалят своих врагов.

«Но, — пишет Эспинас, — *каким образом могут часовые уведомить своих товарищей о присутствии врага? Располагают ли они каким-нибудь языком, достаточно ясным для того, чтобы сообщать друг дружке свои наблюдения? У ос не было замечено, чтобы они пользовались усиками для передачи своих впечатлений, как это мы видим у муравьев. Впрочем, в данном случае, как сейчас увидим, всякий точный язык совершенно бесполезен. Достаточно заметить, для объяснения факта, как передается тревога или гнев от одного индивида другому. Всякий индивид, возбужденный внезапно сильным впечатлением, выбегает наружу и следует за всеобщим течением, он даже бросается подчас на первый попавшийся предмет, в особенности если последний движется. Все животные увлекаются видом движения. Остается еще, таким образом, решить, как передаются душевные движения целой массе индивидов. По нашему мнению, единственной причиной этого —* ***один только вид возбужденного индивида, т. к. в пределах духовной жизни следующий закон является***

всеобщим: проявление известного душевного состояния возбуждает такое же состояние у того, кто его наблюдает[1]*. Ниже тех пределов, где царит ум, для полного однообразия в движениях необходимо, чтобы внешние обстоятельства подействовали одновременно на всех индивидов; но там, где возможно представление, достаточно, чтобы хоть один индивид был возбужден внешними обстоятельствами для того, чтобы все почти сейчас же были возбуждены точно так же. В самом деле,* ***возбужденный индивид выражает свое состояние сознания весьма энергично; оса, например, жужжит особенным образом, соответствующим соотношению гнева и беспокойства; остальные осы слышат и представляют себе это жужжание; но они не могут себе его представить без того, чтобы нервные нити, производящие его обыкновенно, не были более или менее возбуждены.***

У высших животных легко заметить такой психологический факт, что всякое представление о каком-либо действии заставляет начать исполнение этого действия: коза, которой показывают кусок сахара, собака, которую манят куском мяса, облизывают губы и выделяют слюну, как будто они уже имеют эти лакомые для них вещи у себя во рту. Ребенок и дикарь сопровождают свой рассказ усиленной мимикой. Шеврель показал, что при состоянии полного покоя достаточно, чтобы какой-нибудь другой, взрослый, образованный и с твердым характером человек возы-

[1] Этот закон, исследованию которого много содействовал как Эспинас, так и другие известные современные психологи, был уже в начале нынешнего столетия сформулирован Кабанисом. «Благодаря одному только могуществу своих внешних проявлений, — писал он, — впечатления могут передаваться от одного чувствующего существа — другим, которые, чтобы их получить, по-видимому, отождествляются с первым». Впрочем, закон этот был подмечен еще гораздо раньше. Гораций в *Ars poëtica* говорит: «как смех вызывает смех, так и слезы вызывают плач, главное здесь — внешность: если хочешь видеть меня плачущим, заплачь сам».

мел мысль о каком-нибудь движении своей рукой для того, чтобы это движение началось у первого, даже без его сознания. ***Мы думаем, при помощи не одного только мозга, но и всей нервной системы, и известный образ, завладев теми органами, которые имеют постоянное отношение к данному восприятию, неизбежно возбуждает в них соответствующие движения, которые может заставить прекратиться только энергичное усилие.*** *Чем менее сконцентрирована мысль, тем порывистее происходят движения, порожденные таким образом. Наши осы, видя, что одна из них входит в гнездо и затем быстро из него вылетает, сами собой направляются к выходу, и на жужжанье, издаваемое первой, отвечают тем же. Отсюда общее возбуждение всех членов общества».*

Это мастерское описание Эспинаса достаточно, я полагаю, объясняет нам психологию толпы.

Как среди пчел или птиц, целая стая которых при малейшем ударе крыла охватывается непобедимой паникой, точно так же и среди людей какое-нибудь душевное движение распространяется, благодаря *внушению*, только на основании того, что они видят или слышат, и даже прежде, чем будут известны мотивы такого душевного состояния; импульс происходит подчас даже от воображаемого факта, подобно тому, как мы не можем бросить взгляд в глубину пропасти без того, чтобы не почувствовать головокружения, влекущего нас туда.

Рамбосон в своих *«Phénomènes nerveux»* приложил к нервным и интеллектуальным явлениям, которые распространяются при помощи заразы, закон распространения и трансформации экспрессивного движения. Он допускает, что всякому психологическому состоянию соответствует движение частичек мозга, проявляющее наружу изменениями физиономии, осанки, жестами, координированными особым образом. Это движение не останавливается, но распространяется в пространстве и сообщается, не изменяясь, другому мозгу, вос-

производя то же явление. Смех, печаль распространяются согласно с этим законом. Передача церебрального движения на расстоянии является причиной распространенности всех, как самых простых, так и самых сильных явлений нервной активности. Ясно, что теория эта, в сущности, та же, что и теория Эспинаса, который на нескольких страницах развил ее яснее, чем Рамбосон в целом томе.

III

Однако, заметит кто-нибудь, все то, что вы до сих пор сказали, достаточно для объяснения некоторых движений или известных поступков толпы, но отнюдь не объясняет всего. Это объяснит нам, почему, если аплодирует один, то аплодируют все; если бежит один, то обращаются в бегство и все; почему чувство гнева, испытываемое одним, отражается сейчас же на лицах всех. Но это не объясняет нам, почему гнев влечет к дурным поступкам, к человекоубийству; этого недостаточно, чтобы объяснить, каким образом толпа доходит до таких крайностей, как убийство и резня, до ужасных жестокостей, которых, может быть, самый страшный пример мы видим во французской революции. В подобных случаях ваша теория — по которой душевное движение распространяется благодаря тому, что один какой-нибудь индивид проявлением этого душевного движения оказывает влияние (suggestion) на всю толпу, и что в последней, непосредственно, вслед за представлением об известном действии, следует импульс — совершенно недостаточна. Вы не можете сказать, что какой-нибудь человек убивает исключительно потому, что видит, как убивает другой, или что последний принял только соответствующую позу. Чтобы сделать из человека убийцу, нужна другая причина.

Это возражение (основанное, как мы докажем, на истине) само возникло в уме авторов, пытавшихся анализировать причины преступлений толпы. Они смутно

чувствовали, что зверский и жестокий поступок не может являться результатом одних только внешних причин, но что он должен иметь причину в самом организме того, кто его совершит.

> *«Что,* — спрашивает Барбаст (Barbaste), — *происходит в сердцах людей, когда они подобным образом увлекаются сообща к убийству, к пролитию крови? Откуда появляется эта подражательная способность, заставляющая и увлекающая их уничтожать друг друга?* ***Результатом исследования этого вопроса является предположение о врожденном предрасположении к убийству, о каком-то инстинктивном бешенстве — печальных атрибутах человечества, находящих могущественную поддержку в склонности к подражанию.*** *Внешние обстоятельства всякого рода, действуя на эти скрытые способности, возбуждают их и заставляют прорываться наружу.*
>
> *В одном случае — вид крови порождает идею о пролитии ее; в другом, прозелитизм, корпоративный и партийный дух побуждают к действию всякого рода дурные страсти, вооружающие человеческую руку для пролития крови. Иногда все сводится к воображению, усиленно работающему, благодаря раздражительности темперамента, приводящего человека в беспокойство при рассказе о каких-либо несчастных случаях, заставляющему его бросать громы и молнии, когда они преданы гласности, и обращающему в один миг самого робкого человека в настоящего дикого зверя».*

Еще до Барбаста Лавернь для объяснения преступлений толпы прибегнул к предположению о природной склонности человека к убийству. «Подражательный центр, — писал он, — находится в одном ряду с центром драчливости и жестокости. Во время анархии и революций все совершаемые преступления являются результатом функций этих трех пунктов мозга, бесконтрольно властвующих над умом и рассудком, ко-

торым они должны быть подчинены. Человек, жестокий от рождения, засучивает тогда рукава и делается поставщиком гильотины. Подражать ему явится толпа тех, которые желали образца, ждали только толчка к тому, что они чувствовали себя способными сделать. Их жертвами будут слабые и недеятельные люди, вообще такие, которые, благодаря хорошим образцам, хорошим примерам мудрости и рассудительности, сделались гуманными и благочестивыми, и у которых органы жестокости и подражания, хотя и имеют над ними большую силу и значение, должны были, однако, уступить *labori improbo* ума и чувства»[1].

Понятно, что слова Барбаста и Лаверня — глубокая истина. Ранние предвестники новой отрасли знания — судебной антропологии — относят к психологическим и физиологическим условиям организации индивида причины некоторых явлений в жизни человека, вместо того (как хотели некоторые), чтобы приписывать их целиком социальным условиям.

Но прежде чем обратиться к антропологическому фактору, я считаю нелишним рассмотреть здесь несколько вопросов другого рода, которые объяснят, если и не сами по себе, то по меньшей мере в принципе, каким образом толпа может быть вовлечена в совершение диких и свирепых поступков.

Прежде всего следует отметить, что толпа вообще больше расположена ко злу, чем к добру.

Героизм, доблесть, доброта могут быть качествами одного индивида; но они никогда, или почти никогда,

[1] Шопенгауэр говорит, что преимущественно в народных восстаниях появляются на сцене эгоизм и жестокость, основные качества человека. «Когда остервенелая толпа нарушила законы или порядок, тогда во всей силе выступает известная *bellum omnium contra omnes*, удивительную картину которой Гоббс нарисовал в первой главе своего De cive. Тогда делается ясным, как каждый не только похищает у других то, чего он жаждет, но и уничтожает счастье и существование себе подобных с единственной целью сделать хоть ничтожную прибавку к своему благоденствию». (*Мир, как воля и представление*. Кн. IV.)

не являются отличительными признаками большого собрания индивидов. В этом нас убеждает самое обыкновенное наблюдение: толпа индивидов всегда наводит страх; очень редко от нее ждут чего-нибудь хорошего. Весь мир знает по опыту, что пример развратника или помешанного может увлечь толпу к преступлению; очень немногие верят, и на самом деле это происходит весьма редко, чтобы голос порядочного или смелого человека мог убедить толпу успокоиться.

Коллективная психология, как это было сказано нами во введении, богата сюрпризами: сто, тысяча человек, соединившись, могут совершать поступки, которых не совершит ни один из них в отдельности, но эти сюрпризы по большей части печального свойства. От соединения хороших людей вы почти никогда не получите прекрасных результатов; часто результат будет только посредственным, подчас даже очень скверным.

Толпа — это субстрат, в котором микроб зла развивается очень легко, тогда как микроб добра умирает почти всегда, не найдя подходящих условий жизни. Почему же так?

Не говоря здесь о разнообразных элементах, из которых состоит толпа, где рядом с сердечными людьми находятся индифферентные и жестокие, рядом с честными — очень часто бродяги и преступники, и ограничиваясь на минуту общим обзором, мы можем ответить на этот вопрос, сказав, что среди множества лиц хорошие качества отдельных индивидов, вместо того, чтобы слагаться, взаимно уничтожаются.

Они уничтожаются, во-первых, вследствие естественной, скажу даже, арифметической необходимости. Подобно тому как среднее арифметическое нескольких чисел не может, конечно, равняться большему из них, точно так же собрание людей не может отражать в своих поступках более возвышенные способности, свойственные только некоторым из них; оно будет представлять только те отличительные черты, которые свойственны всем или большей части индивидов.

«Самые последние и лучшие наслоения в характере, — говорит Серги, — *образованные и собранные в нескольких индивидах цивилизацией и воспитанием, и сделавшие их, таким образом, привилегированными, затемняются средними слоями, являющимися достоянием всех; в общей сумме первые исчезают, последние одерживают верх».*

С точки зрения *нравственности* в толпе происходит то же, что, как мы показали выше, происходит в многочисленных собраниях людей с *интеллектуальной* точки зрения. Сотоварищество одинаково — по отношению к общему результату — уменьшает как талант, так и добрые чувства.

Этим нам совсем не желательно сказать, что толпа совершенно неспособна ни к какому благородному и великому поступку[1], что она далека от великих мыслей или чувств. У нас очень много фактов, могущих опровергнуть это: так, главным образом все те, которые берут свое начало из любви к отечеству и которые — начиная от 300 спартанцев, умерших при Фермопилах, до последних мучеников за итальянскую независимость — образуют, так сказать, священный путь, доказывающий сам по себе, что толпа так же хорошо, как и один индивид, может подняться до самой высшей степени самоотвержения и героизма.

Я хотел только констатировать, что толпа, вследствие рокового арифметического закона психологии,

[1] В первом издании этого сочинения я указал на случай, когда индивид может быть увлечен толпою к добру скорее, чем ко злу. Я сказал, что в политических революциях возможно, что человек, увлеченный энтузиазмом и возбуждением толпы, делается героем или мучеником, тогда как в обыкновенное время он был бы простым, добрым гражданином, или даже плохим гражданином, если бы жил среди испорченных людей. По этому поводу я привел слова Мора относительно парижского гамена, который «в мирное время к 16 годам занимается уже грязными делишками, делается вором, убийцей и т. п., и с 28-летнего возраста поступает в тюрьму Ларокет, откуда получает билет в Новую Каледонию; во время же баррикад — он умирает, как герой».

предрасположена ко злу более, чем к добру, точно так же, как всякое собрание людей предрасположено давать интеллектуальный результат более низкий, чем должна дать сумма таких единиц. В толпе находится скрытое стремление к жестокости, являющееся, так сказать, сложным органическим фактором ее будущих поступков, и этот фактор, подобно антропологическому фактору в индивиде, может принять хорошее или дурное направление, смотря по обстоятельствам и тому внушению, которое будет на него действовать извне.

Точно так же, как и собрание, представляющее средний интеллектуальный уровень, может подчас подняться до понимания гениальной идеи или благородного чувства, если кто-нибудь сумеет их изложить в соответственной форме, точно так же, повторяем, и толпа со средним и даже низким нравственным уровнем может дойти в некоторых случаях до совершения героических подвигов, если найдется апостол или атаман, умеющий ею руководить... Жалкая посредственность в первом случае и жестокость — во втором, могут, таким образом, превратиться в великие и даже прекрасные мысли и чувства, благодаря оратору, вождю или вообще тому, кто является виновником данного поступка толпы.

Последнее условие было изложено Пюльезом в великолепном сравнении: «Толпа возбуждена; но сила, способная привести ее в движение, подобно взволнованному морю, не начала еще своего действия; — котел находится под давлением пара, но еще не открыта заслонка, долженствующая выпустить пар; — куча пороху приготовлена, но никто не поднес к ней огня, чтобы ее воспламенить... Но вот подымается человек, появляется идея или слышится крик: «смерть такому-то, врагу народа!» или: «освободим такого-то, друга бедных!» — и толчок дан, заслонка открыта, порох воспламенен. Вот — толпа».

У Спенсера есть несколько выражений, которые, если применить их к толпе, можно рассматривать, как ту же самую мысль, что и в сравнении Пюльеза: «слова, — ска-

зал английский философ, — находятся с возбуждаемым ими душевным движением в определенном отношении, очень похожем на то, которое существует между нажатием ружейного спуска и следующим затем выстрелом: они не рождают силы, но только делают ее свободной». Итак, в толпе, как и в индивиде, всякое действие обусловлено двумя рядами факторов: антропологическим и социальным[1]: толпа потенциально может быть чем угодно, и только случай дает тот или другой исход ее силам. Однако здесь есть некоторая особенность: *случай*, т. е. слово или крик человека, является по отношению к толпе бесконечно более важным, чем по отношению к отдельному человеку. Отдельный человек — в обществе, в нормальном состоянии — всегда более или менее маловоспламенимая материя: приблизьте к ней горящий трут, она будет гореть более или менее медленно, а то и совсем потухнет. Толпа, наоборот, всегда похожа на кучу сухого пороха: если вы приблизите к ней фитиль, то взрыв не заставит себя долго ждать. Случай, таким образом, является в толпе, весьма *страшным, благодаря своей непредвидимости*[2].

[1] Навряд ли нужно прибавлять, что, говоря о двух рядах факторов, антропологическом и социальном, мы совсем не желаем исключать физические факторы. Мы говорим специально о двух первых потому, что они одни только и интересны при нашей аргументации.

Ломброзо и Ляши занимались вопросом о влиянии климата на революции и мятежи. Приводя статистические данные возмущений в древности по месяцам и временам года, они пришли к следующим выводам: летом число вспышек всегда более велико, зимой менее; число это достигает максимума в продолжение месяца, следующего за началом самой сильной жары, — в *июле*, и, напротив, оно делается минимальным в *ноябре*, когда начинаются холода.

Не имея времени собрать самые новые данные по этому вопросу, я совершенно оставил изучение физических факторов.

[2] Эту истину можно доказать и для других случаев, кроме тех, где рассматриваются преступления толпы, например во время народных политических выборов. Имя, искусно и вовремя брошенное в толпу, привлекает всех далее помимо их воли и только потому, что оно произнесено. Если бы тогда назвать другого, эф-

После всех этих соображений можно прийти к заключению, что изложенный выше принцип, по которому толпа представляет собой субстрат, в котором микроб добра умирает очень часто и, наоборот, микроб зла культивируется очень легко — не верен. Так как (скажет кто-нибудь) все зависит от случая, который может быть и хорошим, и дурным, то вероятность для совершенно противоположных результатов вполне одна и та же.

Но это не так.

Если верно, что все зависит от случая, то не менее вероятно и то, что случай оказывается дурным гораздо чаще, чем хорошим.

Это происходит вот почему: если бы в толпе число людей, желающих вести ее на доброе дело, было равно числу людей, стремящихся увлечь ее к дурному поступку, то последние в большей части случаев одержат верх. Злоба — качество гораздо более *активное*, чем добродушие, ибо класс злых состоит из тех, кто желает нанести другим вред, тогда как класс добрых составляют люди, *не делающие никогда другим зла* (люди пассивные), и затем, вообще, такие, которые не только никогда не причинили другим зла, но которые желают делать добро и делают его, но легко понять, что пассивная доброта не может влиять на толпу и руководить ею: эти отрицательные качества делают пассивно добрых людей слепыми орудиями тех, кто сумеет одержать верх.

Что касается до *активно* добрых, то их влияние встречает массу затруднений, т. к. если они попытаются вмешаться, реагировать против влияния злых, если они захотят восстановить спокойствие, то очень часто на-

---

фект был бы тот же. Этому можно привести тысячи примеров; вот один: когда турецкий султан Осман был низложен, никто из свергнувших его не думал делать этого; они только униженно просили о справедливом удовлетворении нескольких жалоб. Вдруг один голос, который никогда не был узнан, случайно выделился из толпы: произнесено было имя Мустафы, и нежданно-негаданно Мустафа стал султаном (*Монтескье*. Персидские письма. СПб., 1892. Письмо 81).

ткнутся на превратное толкование своих мыслей, на обвинения в трусости или в чем-нибудь еще более худшем.

Вот почему если они и дерзнут когда-нибудь на реакцию, то вторично уж этого не сделают, и влияние (suggestion) тех, которые желают создать что-нибудь серьезное, не встретит никакого препятствия. Сколько людей кричат во время народных восстаний: «смерть!» или «да здравствует!» только потому, что боятся, если будут безмолвствовать, обвинения со стороны соседей в трусости. И сколько, на том же самом основании, переходит от слов к поступкам! Необходима недюжинная сила воли, чтобы воспротивиться тем крайностям, который совершает окружающая вас толпа, и очень немногие обладают такого рода силой. Большая часть понимает, что поступает дурно, и все-таки делает это, потому что ее толкает и увлекает толпа. Члены ее знают, что не последуй они за общим течением, им придется расплатиться за это званием подлецов и сделаться жертвами чужого гнева. Чисто материальный страх быть обруганным и получить побои соединяется с моральным страхом — прослыть трусом.

У Манцони, в его «Обрученных», мы находим прекрасную страничку с описанием такого рода нравственной и психической несостоятельности, до которой были доведены порядочные люди, бывшие в толпе, несостоятельности, выразившейся в полнейшей невозможности сопротивляться большинству, безрассудно стремящемуся к преступлению: «...Это было непрерывное движение: все толкали, тащили друг друга; были и остановки, вызванные сомнением, нерешимостью, постоянной сменой контрастов, решений. Вдруг среди толпы подымается голос, проклятый голос: „мы найдем это перед домом наместника; идем, учиним суд над ним и разграбим его имущество!” Казалось, что слова эти воскресили у всех в памяти сделанный уже раньше договор, а не были внезапным, принятым всеми решением... „К наместнику, к наместнику!” — других слов не было слышно. Толпа, как один человек, трогается с места и направляется к на-

званному в столь несчастную минуту дому. „Наместник! тиран! мы требуем его живого или мертвого!..”

Ренцо находился в самой середине толпы. Услышав это кровавое предложение, он почувствовал ужас; что касается грабежа, то он не мог сказать, хорошо ли это или дурно при такого рода обстоятельствах, но мысль о человекоубийстве внушала ему страшный ужас. Хотя, повинуясь всеобщему возбуждению, находящемуся в зависимости от народного бедствия, он был более, чем уверен, что наместник — главная причина голода и ярый враг бедных, тем не менее, услышав случайно в толпе несколько слов, выражавших желание употребить все усилия, чтобы его спасти, он тотчас дал себе слово помочь доброму делу...

Какой-то старик, сверкая дикими, горящими глазами, потрясал в воздухе молотком, веревкой и четырьмя большими гвоздями, которыми, по его словам, он хочет прибить наместника к дверям собственного дома, убив его чем попало. „Стыдись!” — закричал Ренцо, испугавшись этих слов и большого числа лиц, им сочувствующих; но подбодренный другими, которые умолкли, выказывая такой же ужас, он продолжал: „Стыдись! Ты хочешь сделать нас палачами? Убить христианина? Как же вы хотите, чтобы Бог дал нам хлеба, если мы совершаем такие страшные вещи? Он пошлет нам не хлеб, а свои молнии!” „Ах ты, собака! Ах, изменник отечеству!” — кричал, кружась как бешенный около Ренцо, один из тех, кто, несмотря на шум, мог понять эти высоконравственные слова. „Сюда, сюда! Вот переодетый в крестьянское платье клеврет наместника; вот шпион; взять его!..” Вокруг него стали раздаваться сотни голосов: „Что?.. Где?.. Кто?.. Слуга наместника... Шпион. Наместник в крестьянском платье, желающий спастись... Где он?.. Лови, бей его!” Ренцо замолк: он был уничтожен; он хотел исчезнуть; несколько лиц, его окружавших, закрыли его собой, стараясь заглушить дышащие ненавистью к убийствам голоса более сильными криками

со своей стороны. Но что его спасло, так это крики: *мéста! мéста!* — раздавшиеся впереди его...»

Огромное большинство лиц находится в одинаковых с Ренцо обстоятельствах, и, если сравнение не покажется чересчур смелым, я скажу, что большая часть добрых людей, находясь среди разъяренной толпы, должна, благодаря роковому закону *психического мимизма*, вести себя так, как и те, которые их окружают.

Подобно тому как некоторые животные, чтобы избежать глаз своих врагов и таким образом спастись, принимают окраску среды, в которой живут, точно так же и люди, избегая преследований и побоев, тоже перенимают нравственную окраску от окружающих, т. е. они кричат все то, чего хотят другие, и делают то, к чему увлекает их общее течение.

Итак, если все это верно, то нетрудно понять, почему дурные страсти одерживают в толпе верх, уничтожая всякое доброе начинание меньшинства.

Но кроме тех заключений, которые мы только что вывели, есть еще одно, еще лучше объясняющее преобладание диких инстинктов.

Мы объяснили, как мне по крайней мере кажется, каким образом распространяется на большое число лиц какое-нибудь душевное состояние, зародившееся и проявляющееся сначала в каком-нибудь одном индивиде. Допустим, что этим душевным состоянием будет гнев или ярость; в одно мгновенье лицо и осанка всякого индивида примут выражение гнева, имеющего в себе некоторую степень напряженности и трагизма.

Не следует думать, что это последнее состояние только кажущееся, внешнее: реальное душевное состояние следует непосредственно за выражающими его внешними движениями даже и тогда, когда эти движения производятся вначале только умышленно. Мы можем вообразить себе известное душевное состояние, не испытывая его на самом деле; но мы не можем остаться индифферентными в том случае, когда проявляем его наружу.

Так как всякое состояние сознания, по словам Рибо[1], сопровождается определенными телесными движениями, которые являются не только его следствием, но необходимым условием, то между состоянием сознания и его внешними проявлениями всегда существует взаимное отношение в том смысле, что первое не может появиться без того, чтобы не произвести вторых, и наоборот.

> *«Когда, закрыв глаза,* — говорит Ланге, — *мы станем думать о карандаше, то прежде всего делаем слабое движение глазами, соответствующее прямой линии, и часто замечаем легкие движения в руке, как будто бы мы желаем прикоснуться к карандашу».*

Для абстрактных представлений Штриккер весьма убедительным образом доказал существование *внутренних слов*; каждый, делая внимательно на себе самом опыт, может заметить, что когда он думает о чем-либо отвлеченном, то молча, про себя, произносит выражающее эту отвлеченность слово или по меньшей мере чувствует большое желание его произнести.

Бен, резюмируя сказанное Ланге и Штриккером, сказал, что мыслить — значит удерживаться от слов и поступков.

Наконец тысяча опытов доказывает, что движение и образ — нераздельны:

> *«Лица,* — говорит Рибо, — *бросающаеся в пропасть из страха туда упасть; те, которые наносят себе порезы бритвой из страха обрезаться, и известное всем чтение мыслей, представляющее не что иное, как чтение мускульных сокращений, — все это кажется обществу странным только потому, что последнему неизвестен основной психологический закон, по которому всякий образ заключает в себе стремление вызвать известное движение».*

[1] *Рибо Т.* Психология внимания. 2-е изд. Киев; Харьков, 1897.

Равным образом и всякое движение имеет стремление вызвать известный образ. Было уже сказано, что мысль это — недозрелое действие. Я полагаю, что аналогичным образом можно сказать, что внешнее действие это — зарождающаяся мысль.

«Обыкновенное мускульное движение, — весьма удачно замечает Маудсли, — *является не только проявлением страсти, но скорее даже ее основным элементом. Выразите на вашем лице какое-нибудь душевное состояние — гнев ли, удивление или злобу — и в вас не преминет появиться это именно состояние, и совершенно напрасно старание испытать какое-нибудь чувство в то время, когда черты вашего лица выражают совершенно другое душевное состояние»*.

«Подобно тому, — совершенно то же писал и Эспинас, — *как человек, держащий рапиру во время обыкновенного фехтования, понемногу возбуждается и испытывает некоторые чувства, похожие на те, которые бывают во время серьезного поединка; точно так же, как замагнетизированный субъект проходит через все состояния, соответствующие позам, которые заставляют его принимать, принижаясь, когда его заставляют стать на колени, и распаляясь гневом, когда его дразнят, — совершенно так же и животные внезапно испытывают те состояния, внешние признаки которых они воспроизводят. Обезьяна, кошка, собака, борясь во время игры, скоро впадают в истинный гнев: так велика у них зависимость между действиями, позами, выражающими обыкновенно данное состояние сознания, и самим состоянием сознания; так легко эти две части одного и того же явления переходят одно в другое»*.

«Если в связи с известной группой впечатлений и происходящими вслед за ними движениями испы-

тывается обыкновенно еще какое-нибудь другое впечатление или движение, — писал по этому поводу Спенсер, — *то со временем последние так тесно связываются с этой группой, что при появлении последней появляются и они, или, будучи каким-нибудь образом вызваны, вызывают и эту группу. Если во время нападения на добычу и ее хватания всегда ощущался известный запах, то впечатление этого запаха возбудит те движения и представления, которые сопровождали акт нападения и хватания добычи. Если за движениями и впечатлениями, сопровождавшими акт хватания добычи, обыкновенно следовали укушения, борьба или ворчание, связанные с раздиранием добычи, то, когда начнут появляться первые, за ними в свою очередь появятся и психологические состояния, тесно связанные с укушениями, борьбой или ворчанием. И если за этими последними, со своей стороны, всегда следовало психологическое состояние, сопровождавшее еду, то и оно тоже будет возбуждено при их возбуждении. Таким образом простое ощущение запаха возбудить многочисленные и разнообразные состояния сознания, сопровождающие акты нападения, хватания, умерщвления и разрывания добычи. Зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые и мускульные ощущения, всегда сопровождающие соответствующие фазы этих действий, все будучи возбуждены в одно и тоже время, образуют, соединившись, желание схватить, умертвить, разорвать и дадут толчок движению, направляющему данное животное вслед за добычей»*.

Этот отрывок из Спенсера заключает в себе психофизиологический закон, который Шарко резюмировал следующим образом: «всякое движение, получаемое нашими мышцами извне, всякая нервная сила, развивающаяся в организме, возбужденном какой-нибудь посторонней и непроизвольной причиной, определяет

целый ряд состояний мозга и изменений в ходе мыслей, способных передаваться при помощи известной осанки и сопровождающих ее экспрессивных движений».

Итак ясно, что толпа, в которой было выражено какое-нибудь душевное состояние, вроде гнева или ярости, в одно мгновение будет возбуждена не только чисто внешним образом, но и приведена в самую реальную ярость. Отсюда легко понять, каким образом, не находясь даже под влиянием антропологического фактора, она может дойти до преступления.

Все индивиды, входящие в состав толпы, находятся в психологических условиях, аналогичных с тем, в которых находится один лично возбужденный и оскорбленный индивид. Поэтому-то преступление, ими совершенное, не будет непонятным зверским поступком, а скорее реакцией (справедливой или несправедливой, но всегда естественной и вполне свойственной человеку) против причины или того, что считается причиной этого возбуждения, чувствуемого, благодаря эпидемии, всеми.

Антропологической фактор, без сомнения, играет немалую роль в преступлениях такого рода, но главным мотивом, тем не менее, будет реальное чувство гнева и реальное раздражение большинства. Такое чувство гнева производит преступления толпы, весьма похожие на действия случайных преступников, доходящих, как известно, до преступления только тогда, когда их толкает на это сила обстоятельств или внутренние побуждения.

Итак, мы подняли первую завесу, скрывавшую за собою тайну непредвиденных преступлений толпы; теперь постараемся рассмотреть, почему она их совершает. Нижеследующее соображение поможет нам еще лучше объяснить это явление.

Мы говорим здесь о неоспоримом психологическом законе, по которому интенсивность душевного движения возрастает прямо пропорционально числу лиц, разделяющих это движение в одно и тоже время и в одном и том же месте. В этом заключается причина того

неистовства, до которого доходит подчас энтузиазм или порицание в театрах или в каком-нибудь другом собрании.

Прекрасный пример и доказательство этому мы можем найти, исследуя хорошо то, что происходит в зале, где говорить оратор.

> *«Я допускаю,* — говорит Эспинас, — *что душевное состояние, испытываемое оратором, может быть выражено числом 10, и что при первых словах, при первых перлах своего красноречия он передает по меньшей мере половину своего чувства каждому из слушателей, которых, положим, 300 человек. Каждый из них будет реагировать на его слова или аплодисментами, или удвоенным вниманием, и все это поведет за собою то, что всевозможные отчеты о таких заседаниях называют* ***действием, сенсацией.*** *Это «действие» будут испытывать все в одно и тоже время, и т. к. слушатель занят аудиторией не менее, чем оратором, то его воображение будет внезапно охвачено зрелищем этих 300 лиц, испытывающих известное душевное состояние; это зрелище не преминет, благодаря выше отмеченному закону, произвести реальное ощущение данного чувства. Допустим, что он испытывает только половину этого чувства, и посмотрим на результат. Потрясение, им испытанное, будет выражаться уже не 5, но половиной 5, умноженной на 300, т. е. 750. Если тот же закон применить к тому, кто находится перед собранием и говорит среди этой толпы, то число, выражающее его внутреннее возбуждение, будет уже не 750, но 750/2 х 300, т. к. он является центром, куда все эти глубоко тронутые индивиды отражают передаваемые им впечатления».*

Понятно, что в толпе не имеет места передача душевного состояния от всех к каждому отдельно; толпа не имеет такого характера органической концентрации.

Народное сборище не отличается строгим порядком: оно шумно, и большая часть душевных движений — с чем нельзя не согласиться — не может быть испытана всеми, а потому и не находит себе отголоска. В этом случае интенсивность душевных состоянии уже не находится в прямом отношении с числом индивидов, и ускорение движений, выражающих известное чувство, гораздо менее быстро. Тем не менее главный закон остается совершенно верным. Он проявляется менее определенно, менее ясно, в более непостоянной форме, но даже и это непостоянство, эта неясность имеют свои последствия. Всякий крик, шум или действие[1], не будучи хорошо выслушаны и объяснены, дадут, может быть, более серьезные последствия, чем они должны произвести на самом деле. Всякий индивид будет обладать более возбужденным воображением, сделается более податливым всякому внушению и перейдет с изумительной быстротой от слов к делу.

> *«Чем более,* — писал Спенсер, — *разнородна поверхность, по которой распространяется влияние известного фактора, тем более от его усиления увеличиваются число и качество результатов».*

Теперь мы находимся перед явлением, которое было названо Энрико Ферри *психологическим брожением*: зародыши всех страстей подымаются из глубины души, и, как в химических реакциях между несколькими веществами получаются новые и отличные вещества, точно так же от психологических реакций между некоторыми чувствованиями возникают новые, страшные, неизвестные до этого времени человеческой душе порывы[2].

---

[1] Например, речь оратора, пытающегося водворить спокойствие в раздраженной уже толпе, может иметь совершенно противоположный результат, т. к. те, которые удалены от оратора, не слышат его слов, но только видят его жесты, которым они — вследствие естественного психологического явления — дают такое объяснение, которое им больше нравится.

[2] Шютценбергер в своем трактате о брожениях писал следующее: «чем более прост известный организм, чем менее родов специальных клеток он содержит, тем более просты и те химиче-

В подобных случаях, когда нет возможности не только рассуждать, но даже ясно видеть и слышать, самый ничтожный факт принимает грандиозные размеры и малейшее возбуждение доводит до преступления. В этих-то случаях толпа предает смерти невинного человека, не выслушав даже его, т. к., по словам Максима Дюкана, «достаточно одного подозрения; протесты бесполезны; убеждение — глубоко».

Отсюда естественно заключить, что возбуждение и гнев толпы, которая, как было показано выше, чувствует их очень глубоко, переходят в короткое время, благодаря одному только влиянию численности, в настоящее бешенство. После этого нет ничего удивительного в том, что толпа доходит до самых ужасных преступлений.

Это страшное влияние численности, которое, по моему мнению, замечено всеми и которое мы пытались выше объяснить, подтверждается наблюдениями всех естествоиспытателей. Так, хорошо известен факт, что храбрость какого-нибудь животного увеличивается прямо пропорционально числу сотоварищей, которых он видит перед собою, и таким же образом уменьшается от большей или меньшей степени его изолированности.

Самое блестящее подтверждение этого закона было дано Форелем в сделанном им опыте над муравьями, послужившем темой большой работы. Он унес из двух враждебных армий *луговых муравьев* семь индивидов, участвовавших в сражениях (из одной армии четырех, из другой трех муравьев), и сейчас же поместил их в

ские реакции, которые в нем происходят, тем легче их распутать, изолировать экспериментально. Наоборот, чем разнообразнее и разнороднее гистологическое строение, тем больше различных сложных соединений, произведенных происходящими в разнообразных тканях многочисленными химическими реакциями». Из этого можно заключить, что в человеческом организме, обладающем самой сложной и наиболее разнородной структурой из всех организмов, психологические реакции достигают максимума в отношении разнообразия и разнородности.

один и тот же сосуд. Все семь муравьев, бывшие только что возбужденными и сражавшиеся одни против других, сделались друзьями.

Не ясное ли это доказательство, что только численность будит в толпе зверские инстинкты и страсть к битвам?

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТОЛПЫ

I

Общие вопросы, на которых мы до сих пор останавливали внимание читателя, были нам необходимы для того, чтобы сделать понятным, какой страшной внутренней силой обладает толпа.

Теперь, запасшись фактами, необходимо не только исследовать, каким образом проявляется эта внутренняя сила, но также поискать, нет ли и других факторов, производящих коллективные преступления большого числа лиц, и каковы эти факторы. Только после такого исследования можно будет ответить на вопрос, заданный себе нами в начале этого сочинения, именно: какая самая подходящая форма социальной реакции против такого рода преступлений?

Прежде всего нам нужно оставить на мгновение изучение толпы с психологической точки зрения, т. е. такой толпы, которая, собравшись и бушуя, ждет только искры, чтобы со страшным взрывом освободить всю заключающуюся в ней потенциальную энергию. Нам нужно обратиться к наблюдениям совершенно иного рода, принадлежащим скорее к области социологии, чем коллективной психологии, — науки более узкой. Необходимо исследовать, что в настоящее время считается нормальными условиями народа, каковы его чувства, идеи, нужды. Подобно тому, как мы не можем вынести приговор

над преступником, исследуя его поведение только по отношению к преступлению, но нам необходимо проследить состояние его духа, характер и экономические условия, в которых он поставлен, — точно так же нельзя судить толпу за ее преступления, не зная ее влечений, ее тенденций, вообще нравственного и материального состояния того народа, ничтожной частью которого является данная толпа.

Понятно, анализ такого рода — сравнительно довольно легкий, когда дело идет об одном индивиде, — представляет громадные трудности, когда прилагается к целому обществу. Между этими двумя случаями такая же разница, как между биографией и историей. Этим, конечно, мы не хотим сказать, что для такого анализа необходимо подробное исследование, но что нужно по меньшей мере, так это — одним взором окинуть главные характеры эпохи, составить себе наконец, по возможности, самое точное мнение о постоянном психологическом состоянии народа, который может быть завтра почему либо будет собираться в толпы для совершения преступлений.

Даже весьма непрозорливый наблюдатель не может отрицать того, что в наше время в народе существует нечто похожее на стремление к восстаниям. В рабочих, а там и сям и в крестьянах-пролетариях, появляется сознание, что из них образуется новое сословие, и т. к. нынешняя политическая свобода дала абсолютное могущество численности, то это сословие, видя себя самым многочисленным, весьма логично требует, чтобы остальные сословия предоставили ему гораздо больше, чем теперь, прав и привилегий.

В этом простом и вполне свойственном человеку требовании, существующем в истории всякого прогресса и являющемся в обществе — как и во всяком индивидуальном организме — результатом инстинкта самосохранения, и заключается первый и даже единственный источник всех тех более или менее преувеличенных идей, которые распространяются все шире и шире.

Многие приписывают этим идеям недовольство и возбужденность народа, говоря, что они ведут от радикализма к анархии, и думают, что, не будь лиц, которые делают самих себя и других апостолами этих идей, деревенские жители и городской рабочий класс были бы до сих пор спокойны и довольны своим положением, не мечтая о лучшем.

Я не отрицаю того, что эти идеи заставили расти их желания: «нет ничего более опасного, чем большая мысль в малой голове», — сказал Тэн, и понятно, что возвышенность социалистических стремлений может повлиять на потерю нравственного и умственного равновесия у многих из тех, которые, имея очень мало или даже никаких познаний и очень большую нужду, по необходимости принимают с энтузиазмом какую угодно теорию, лишь бы она обещала материальных благ более, чем другие. Я, со своей стороны, допускаю, хотя и весьма относительно, что эти идеи — как говорил некий итальянский консерватор — вселили в некоторых «предубеждение вместо верных мнений, искушение — вместо спокойствия, вожделение — вместо веры».

Но я считаю самой роковой ошибкой мнение, будто эти идеи являются единственной причиной брожения, охватившего низшие классы. Оно зависит от более далеких и глубоких причин, которые, к несчастью, гораздо труднее уничтожить, чем теории той или другой политической партии; оно зависит от того давящего нас социального кризиса, который тем более мучителен, чем выше наша чувствительность и чем больше потребностей развил в нас прогресс.

Говорить об опасности, проистекающей от известных политических доктрин, приписывая им возбуждение в народе таких жалоб, которых без них не было бы, — это все равно, что, говоря о бессмертии каких-нибудь научных истин, обвинять их в развращении общества, или бороться против вечности методов натуралиста, обвиняя его в том, что он принимает от

этого весьма дурные привычки[1]. Все эти три рода интеллектуальной деятельности не имеют другой цели, кроме раскрытия истины. «Да, господа, — говорил в 1850 г. Стендаль относительно этого же предмета, смотря на него, однако, с точки зрения литератора, — книга это — зеркало, прогуливающееся по большой дороге. Оно отражает перед вашими взорами то лазурь небес, то грязь, находящуюся в лужах. Неужели вы обвините в безнравственности человека, который несет в своей корзине зеркало? Или зеркало, т. к. оно отражает грязь? Скорее обвиняйте проезжую дорогу или лужи, или, еще скорее, — инспектора дорог, не обращающего внимания на то, что вода застаивается и образует лужи».

Не станем повторять глупых обвинений, возводимых на тех, которые поднимают покрывало с многочисленных социальных несправедливостей; они только констатируют истину; и если она тягостна, то чья же это вина? Стендаль ответил очень определенно: «*обвиняйте большую дорогу, и гораздо больше — инспектора дороги*».

Однако нужно согласиться, что обыкновенно не ограничиваются одним только указанием на существующее зло и на способы его исправления, совершаемого постепенно и вполне справедливо. Некоторые советуют жестокие и преступные средства, и это те — скажут иные — которые возбуждают пролетариев против богачей. Эволюционист в душе, я не могу одобрить тех, которые хотят при помощи насилия дать возможность восторжествовать известной идее: «Насилие и исти-

[1] Жюль Валес в своем сочинении *Les refractaires* поместил главу под заглавием: *Les victimes du livre*, где он указывает на то большое влияние, которое может оказывать литература на развитие чувств и действий у индивида. Конечно мы не желаем отрицать этого влияния, но полагаем, что оно более узко, чем думают. «Когда страдающий сахарным мочеизнурением нанесет себе легкую рану, — писал Бурже — он умирает. Но смерть его вовсе не зависит от этой раны. Она только обнаружила общее состояние организма, которое оказалось весьма плохим, что и показал другой фактор. Точно такое же влияние показывают и самые опасные книги».

на, — сказал Паскаль, — это две могущественные силы, не действующие друг на друга: истина не может управлять насилием, и последнее никогда не пользовалось для своих целей истиной». Все это я утверждаю, как теорию, как идеал, к которому стремится и которого, без сомнения, достигнет человечество. На практике же и в нынешнее время, к несчастью, иногда необходимо противоположное. Чтобы это доказать, достаточно окинуть взором историю Италии во второй половине нынешнего века: без революции мы не были бы сегодня свободной нацией. С точки зрения истории слова Паскаля: «*la violence n' a jamais servi utilement à la vérité*» — бессмысленны; но поддерживать то же в теории было бы безрассудством, преступлением, т. к. мы должны делать все возможное, чтобы способствовать прогрессу во всем, не принося в жертву людей. Во всяком случае, я думаю, что влияние известных опасных учений сильно преувеличено, если последние излагаются только в теории. «Мысль, — писал Милль, — что продавец пшеницы, заставляет бедняков умирать с голода, или что частная собственность, это — добро, похищенное у других, не должна иметь препятствий к тому, чтобы быть напечатанной в журналах; но ее следует наказывать по закону, раз она внушается словесно толпе, находящейся перед продавцом пшеницы, или когда ее с умыслом пропагандируют в большом собрании при помощи прокламаций». Вы можете во всех журналах мира писать, что необходимо отнять избыток у того, кто его имеет, но эти слова убедят только таких субъектов, которые уже антропологически расположены к воровству; они не будут иметь никакого значения для честного человека, т. к. «человек (по верному замечанию Ферри) поступает сообразно со своими чувствами, а не сообразно со своим образом мыслей».

Итак все теории, даже самые жестокие, имеют весьма мало значения в нашей нравственной динамике; что имеет какое либо значение — так это наше чувство. Оно-то и говорит не только пролетариям, но и всем другим

людям. Утонченность чувств варьирует у индивидов и у классов индивидов; вообще те индивиды и те их классы, которым в жизни приходится переносить более легкие несчастья, имеют гораздо более утонченную чувствительность.

Экономические трудности поражают богачей так же тяжело, как и пролетариев; вместе с появлением экономических бедствий возникает много горя, много несчастий, не щадящих никого и дающих всем право жаловаться. Если же все это справедливо, если истинно, что только невзгоды и несправедливости делают толпу недовольной, а не те или другие теории, могущие, самое большее, только усилить это недовольство, то не должны ли мы иметь хоть немного снисхождения к случайным и внезапным эксцессам толпы?

Протестующие плебеи, как назвал их в заседании сената Эллеро, дают большую часть преступлений толпы, и их страдания — истинная причина тех крайностей, на которые они решаются.

Относительно восстаний и тревог всякого рода можно сказать то же, что и относительно двух друзей, когда один из них, всегда спокойный и молчаливый, делает другому сцену из-за пустяка. «Из-за чего он ссорится? На это он не имеет ни малейшего основания!» — может воскликнуть кто-нибудь. Но более близкие к нему ответят: «Да, вы ведь не знаете! Он был так огорчен!..»

II

После этого отступления, которое, однако, было необходимо, вернемся к психологическому анализу толпы.

В конце предыдущей главы мы сказали, что численность увеличивает интенсивность душевных движений, и, вслед за Эспинасом, дали математическое доказательство этого явления. Теперь мы должны прибавить, что численность не только производит этот арифметический эффект, но что, сверх того, она сама по себе является источником новых душевных движений. Численность дает

всем своим единицам чувство их внезапного и необычайного могущества. Они знают, что могут бесконтрольно употребить все свое могущество, что их за это не осудят, не будут наказывать; и эта уверенность придает им храбрость для совершения поступков, которые они сами осуждают, чувствуя их несправедливость.

Всякая диктатура по необходимости приводит к деспотизму и несправедливости, т. к. тот, кто имеет возможность сделать все, на все решается. Это считается психологическим законом.

Таким образом, вполне естественно, что 100, 1000 и 2000 человек, случайно собранные вместе, сознавая свою силу и видя себя хозяевами известного места, считают себя вправе быть судьями, а подчас даже и палачами. «Неожиданное всемогущество и безнаказанность за убийство, — писал Тэн, — чересчур крепкое вино для человеческой головы: головокружение наступает быстро, перед глазами появляются красные круги, и от исступления человек доходит до жестокости».

В подобных случаях на сцене появляются самые зверские страсти; даже в цивилизованном человеке просыпается мгновенно свирепость, и чтобы объяснить это явление, нам почти против воли приходится обратиться к гипотезе Барбаста и Лаверня: что в человеке просыпается врожденное стремление к убийству себе подобных, скрытое подобно огню, находящемуся под пеплом, но ожидающее только искры, чтобы, вспыхнув, проявиться наружу.

Понятно, что этому-то мы и должны сверх *внешних*, вышеозначенных причин — приписать преступления толпы. Потому что, если описание человеческого характера, сделанное Серги, имеет твердое основание, а не представляет собой простого уподобления, то очень логично и естественно допустить, что самые низкие слои характера подымаются наверх, когда психологическая буря совершенно переворачивает наш организм.

Однако то, что какой-нибудь человек, в особенности человек народа, которого долгие века цивилизации

приучили к состраданию, делается в одно мгновение неограниченным властителем и в тоже время палачом, — не проходит для него безнаказанно. Хотя его и толкает на преступление просыпающийся в нем дикий инстинкт, хоть он и возбужден против своих жертв, нанося им оскорбления и несправедливости, но при всем том он смутно чувствует, что совершает какой-то необычайный поступок, и душа его, подобно Макбетовой, «полна скорпионов».

> «*Несмотря на это, он, благодаря страшному противоречию, не поддается полученной в наследство гуманности, которая в нем возмущена: она удерживает его, он раздражается еще больше, и чтобы ее потушить, у него нет других средств, кроме одного — „упиться ужасами", прибавляя все новые убийства, т. к. убийство — особенно в том виде, в каком оно им совершается, т. е. при помощи холодного оружия и над беззащитными — производит в его животной и нравственной машине две необычайные и потрясающие ее эмоции: с одной стороны, чувство всемогущества, которым можно злоупотреблять, не подвергаясь никакому контролю или опасности для собственной жизни, и с другой — чувство разнообразно совершаемого кровавого убийства с его постоянным аккомпанементом: судорогами и криками*».

Так писал Тэн; но не всегда человек поступает вопреки внутреннему голосу, советующему ему быть гуманным и сострадательным; не всегда бывает, что человек уступает инстинкту человекоубийства.

Если верно, что толпа совершает подчас такие жестокости, которые никогда даже не снились самому пылкому воображению, но также истинно и то, что иногда она не совершает многих чудовищных преступлений, даже будучи в состоянии их совершить.

Рядом со слепой, жестокой, неукротимой, потерявшей всякое чувство справедливости, находящейся в

состоянии буйного умопомешательства толпой — существует толпа, которая не переходит через известные границы, которая раскаивается, совершив какое-нибудь преступление, и следует советам того, кто желает водворить в ней спокойствие.

Доказательством этому может служить история всех революций, как больших, так и малых, как политических, так и религиозных и экономических, и это разнообразие в манифестациях весьма ясно указывает на то, что причиной преступлений толпы бывает не одно только внушение, влияние численности и нравственное опьянение, являющееся результатом победы атавизма над медленным, вековым трудом воспитания.

Существуют другие причины, имеющие начало в том, что каждая толпа имеет свой особый состав; что люди, ее составляющие, обладают самыми разнообразными характерами, будучи подчас глубоко честными, а подчас увлекаемые к преступлению собственной своей природой.

III

Прежде всего мы займемся толпой, которая с поразительной быстротой переходит к самым жестоким и ужасным поступкам. Никакие эпизоды не могут быть лучше тех, которыми изобилует французская революция. Народ был тогда диким зверем, ненасытным в своей жажде к грабежу и убийству. Никто не мог обуздать своей ярости; видя подачку своему кровавому, жестокому инстинкту, всякий остервенялся все более и более.

Но одно ли только влияние численности и пробуждение инстинкта к человекоубийству толкали его на самые ужасные крайности? Вправе ли мы сказать, что народ, состоящий из честных крестьян и рабочих, может обратиться сразу в чудовище испорченности? Нельзя ли с большей вероятностью утверждать, что к тому примешиваются, развращая его, все те индивиды, образующие социальные подонки, которые при каждом возмущении или мятеже выходят из кабаков и других подозритель-

ных мест, где они обыкновенно скрываются, подобно тому, как от возмущения воды в пруде показывается на поверхности его вся, находящаяся на его дне, грязь?

«*В спокойное время,* — говорит Карлье, — *когда усмиренные политические страсти не штурмуют каждое утро власть имущих, полицейская администрация пользуется нравственной властью над содержателями всяких подозрительных мест, фланерами, бродягами, вообще над всеми подонками общества, — властью, которая несколько сдерживает последних. Всю жизнь свою они скрываются, и приближение полицейского агента обращает их в бегство. Но пусть только начнет просыпаться общественное мнение; пусть ежедневная пресса начнет вести себя наступательно по отношению к легальности некоторых поступков префекта полиции: тотчас все эти люди сделаются высокомерными и задерут голову. Они начнут сопротивляться агентам и бороться с ними; они будут участвовать во всех мятежах, и если получат откуда-нибудь удар, то станут считать себя в числе политических жертв. Приходят революции, и они со своими подругами, которых увлекают с собою, делаются самыми жестокими, самыми двусмысленными ее деятелями...*»

«*Этот класс людей без определенной профессии,* — прибавляет Гиске, — *(класс многочисленный, составленный из людей, не имеющих почти никакого крова, которых дурные наклонности заставили сбросить с себя узду закона и нравственности) — является в количественном отношении весьма малой частью народонаселения; но, принимая во внимание его лень и несчастия, взвесив бродящие в нем дурные страсти, мы придем к убеждению, что* ***тут-то преимущественно и находится ужасная угрожающая все ниспровергнуть сила****. Эта масса пользующихся дурной славой людей неустанно пополняется и*

увеличивается во время смятения авантюристами, людьми с запятнанной репутацией, потерявшими кредит и доброе имя в департаментах и пришедшими в Париж искать убежища. К ним можно еще присоединить завсегдатаев кабаков и всевозможных притонов, одним словом, сомнительных личностей всех родов; и когда вся эта грязь приводится в движение политическими страстями, то к ним присоединяются также и люди с расстроенным воображением, чувствующие потребность в сильных ощущениях и находящие их в уличных драмах, в народных волнениях».

Всякий знает по опыту, насколько это справедливо. Лишь только появляется на горизонте какая-нибудь политическая буря и на улицах обнаруживается некоторое необычайное одушевление, выражающееся в собраниях и спорах, тотчас же там и сям появляются зловещие фигуры, которых до сих пор никто никогда не встречал. Все задают себе один и тот же вопрос: откуда они взялись, и задумываются над этими личностями, которые, почуяв издали запах падали, выходят из своих логовищ.

В Париже в страшные дни 1793 г. эти личности являлись душою всех злых дел, которые тогда были совершены.

Очевидец рассказывает, что большое число бродяг, показавшихся в Париже вскоре после первых признаков революции, шныряло по городу и увеличивалось в числе, соединяясь с рабочими, вышедшими из мастерских. Вооруженные всевозможными родами оружия, они оглашали воздух мятежными криками. Жители разбегались при приближении этих ватаг; ворота домов запирались; все улицы казались пустынными и необитаемыми, кроме тех, по которым шли эти бешеные орды. «Когда я, — говорит Матье Дюма, — пришел к себе в квартал Сен-Дени, один из самых людных кварталов Парижа, многие из этих разбойников палили в воздух из ружей, желая вселить ужас в жителей».

Этих «разбойников» было немало, т. к. Дроз доводит их число до 4000 человек, которые, по мнению Бальи и многих других после него, были, несомненно, навербованы, но кем — неизвестно. Они входили в частные дома, в правительственные учреждения, крадя все, что могли унести, и уничтожая остальное, часто даже при помощи огня. Правительство пыталось дать работу на Монмартрских высотах двадцати тысячам этих человек; но большая часть из них присоединилась ко всякого рода грабителям и появилась в городе.

«*Они появляются в монастыре Сен-Лазар,* — писал Тэн, — *и грабят его; проникают в кладовую для хранения мебели и опустошают ее. По улицам шляются личности, одетые в лохмотья, причем на одних из них — античное вооружение, на других — оружие, имеющее большую ценность или по богатой отделке, или по историческим воспоминаниям: один из них, например, имел в руках шпагу Генриха IV*».

«*Эти обычные преступники,* — писал весьма справедливо Жоли, — *и являются виновниками всякой резни; они образуют кортежи к гильотине и ссорятся из-за чести участвовать в расстрелах. Жены их тоже не медлят к ним присоединиться. В подобных случаях женщины не довольствуются тем, что сопутствуют мужчинам: они их толкают ко злу, подбодряют к нему и часто даже превосходят их наглостью и жестокостью*». «*Во многих случаях,* — писал Максим Дюкан, — *жертва могла бы быть спасена, если бы подоспевшая женщина не сказала мужчинам: „Вы трусы!" и не нанесла бы первого удара*»[1].

[1] Тот же автор рассказывает следующий эпизод времен коммуны: «...часовые заметили человека, шедшего очень скоро. Раздалось „стой!". Его стали расспрашивать. У него оказались усы, следовательно, это — жандарм. Толпа кричала: „Расстрелять его! Это жандарм! его нужно уничтожить!" В этой толпе особенно выделялась одна женщина, кричавшая громче всех, в руках у нее было ружье, за поясом — патронташ; имя ее Марселина Эпильи. Излишне говорить, что человек этот единодушно был осужден на смерть. Его отвели на rue de Vacguerie и поставили около стены.

Однако в числе всех вышеуказанных личностей не одни только преступники принимали участие в революции: между ними были и сумасшедшие. Вышедшие из госпиталей, которых двери были им открыты революционной толпой, они совершенно свободно могли предаваться безумию на площадях и улицах. Большое число этих несчастных бегало по Парижу, внося повсюду беспорядок и ужас.

> «*Сын одной сумасшедшей* (рассказывает Тебальди), *проводивший обыкновенно свою жизнь или в тюрьме, или в больнице умалишенных, был одним из самых неумолимых сыщиков, убийц, поджигателей. Но самой знаменитой из всех была Ламбертина Теруан, эта кровавая героиня, поведшая толпу на штурм инвалидного дома и взятие Бастилии, и умершая в Сальпетриэре, ползая голая по полу и роясь в находящихся там нечистотах*».

Преступники, умалишенные, дети умалишенных, алкоголики[1], вообще социальная грязь, лишенная всякого

Но энергия не покинула его: он бросился на своих убийц и ударом по голове повалил нескольких на землю. Получив „подножку", он упал на землю, и его окружила вся ватага. Окровавленный, с переломанной левой рукой, он стал подыматься. Вдруг Марселина закричала: „Пустите! пустите!". Прицелилась в грудь несчастного и выстрелила. Он упал, но еще двигался; тогда она нанесла ему еще один, смертельный удар».

Наблюдение, что развращенная женщина хуже развращенного мужчины, было сделано уже давно (между прочим и Ломброзо), когда решался вопрос об индивидуальном преступлении. То же можно сказать и о коллективном преступлении. Когда женщина опьянеет от крови, она не знает ни границ, ни меры.

Здесь будет уместным присовокупить, что если женщина жестока, то она в то же время и храбра, что, впрочем, вполне естественно, т. к. храбрость и жестокость имеют очень много общего, сверх общности происхождения. Во французскую революцию был только один случай женской трусости: Дюбарри. Во время Коммуны, пишет один историк, в последние ее дни, женщины держались за баррикадами дольше, чем мужчины.

[1] Необходимо заметить, что число сумасшедших всегда велико во время революций или возмущений не только потому, что

нравственного чувства и развращенная преступлением, — составляли самую главную часть бунтовщиков и революционеров.

Примешайте к легкомысленной и повинующейся всякому толчку толпе этих личностей — они и сообщат ей ее жестокость и сумасшествие. Что же тогда удивительного в том, что поступки этой толпы жестоки?

Там, где благодаря беспорядку никто не начальствует и никто не повинуется, дикие страсти могут проявляться так же свободно, как и самые возвышенные чувства; но, к несчастью, герои, в которых нет недостатка, бессильны удержать убийц. Последние приводят толпу в движение; большинство же, составленное из позволяющих увлекать себя автоматов, не в силах им противиться.

Чтобы понять увеличение жестокости истинных преступников и всеобщее возбуждение, — прибавьте к нравственному опьянению, являющемуся результатом численности, и физическое опьянение, происходящее от выпитого в изобилии вина, а также оргии над трупами, — и вы сразу поймете, почему «из жестокосердной твари появится Дантовский демон, зверский и в тоже время утонченный, не только разрушитель, но и находчивый, и сметливый палач, хвастающийся и довольный теми страданиями, которые он доставляет другим» (Тэн).

«*Во время многих часов пальбы,* — писал Тэн, — *пробуждается стремление к убийству, и желание убивать, обратившееся в idée fixe, надолго остается в толпе, которой не удалось сделать что-либо преступное. Достаточно одного только вопля, чтобы она приняла уже какое-нибудь решение; когда*

сумасшедшие принимают в них участие, но и потому, что большие общественные, политические или религиозные возмущения делают сумасшедшими тех, кто только был предрасположен, хотя и в весьма малой степени, к сумасшествию. Статистически это было доказано в конце прошлого века Пинелем, основателем нынешней психиатрии. После него Белом обращает внимание на сильное увеличение сумасшедших, благодаря революциям 1831, 1832 и 1848 гг.

станет убивать хоть один, все захотят делать то же. Те, кто был без оружия, — рассказывает один офицер, — бросали в меня камни; женщины скрежетали зубами и угрожали мне кулаками. Уже двое из моих солдат были убиты позади меня... Наконец я очутился в нескольких сотнях шагов от городской ратуши, когда перед моими глазами появилась насаженная на пику голова, которую мне показывали, говоря, что она принадлежит губернатору Делонэ. Последний, выходя из дому, получил удар шпаги в правое плечо, затем его потащили на улицу Сен-Антуан, где вся толпа стала рвать у него волосы, угощая его ударами. Под аркою Сен-Жан он был уже сильно изранен. Вокруг него раздавались голоса: „Перерезать ему горло! Повесить его! Привязать к конскому хвосту!" Тогда, потеряв всякую надежду и желая сократить свои мучения, Делонэ закричал: „Кто же наконец убьет меня!" и, отбиваясь, ударил в живот одного из тех, которые его держали. В один миг он был истыкан штыками; его потащили к пруду и мертвому стали наносить удары, крича: „Вот паршивое чудовище, которое нам изменило!". Народ требует его голову, чтобы показать ее обществу, и вот слышатся приглашения тому, кто получил удар ногой, отрубить голову у обидчика. Обиженный, повар без места, простой зевака, пришедший в Бастилию посмотреть, что там происходит, думает, что поступок этот весьма патриотичен, ибо таково всеобщее желание, и надеется получить, может быть, медаль за уничтожение подобного чудовища. Данной ему саблей он ударяет по обнаженной шее; но т. к. сабля плохо отточена и не режет, то он вынимает из кармана маленькой нож с черной рукояткой и, умея в качестве повара обращаться с мясом, счастливо доводит операцию до конца. Затем, насадив голову на вилы и сопутствуемый более чем 200 вооруженных людей, не считая простого народа, он двигается в путь. На улице Сен-Онорэ повар

прикрепляет к голове два объявления, чтобы яснее указать, кому она принадлежит. Слышатся шуточки. Пройдя по Палероялю, кортеж приближается к Новому мосту, перед статуей Генриха IV наклоняют трижды голову, говоря ей: „Приветствуй своего господина!" Но это — уже последнее издевательство...»

Когда толпа дошла до того состояния, что ей уже мало убивать, когда она хочет, чтобы смерть сопровождалась самыми жестокими муками и самой ужасной гнусностью, когда кровавый инстинкт достиг у нее этой степени жестокости, то в ней не преминет проснуться также и похоть. Жестокость и похоть это — пара, усиливающая друг друга. Подобно субъекту, который унижает поэзию любви муками и кровью[1], и толпа увеличивает подлость убийства проступками против нравственности, и это низкое умопомешательство, произведенное похотью и видом крови, оканчивается подчас самой гнусной подлостью и каннибальством.

Все чудовища, которые ползали скованные на дне человеческой души, подымаются в одно мгновение из глубины человека; подымаются не только злобные инстинкты с их скрежетом зубов, но и гнусные помыслы с их пеною у рта, и эти две стаи, соединившись, остер-

[1] Ломброзо изучил связь похоти с инстинктом человекоубийства, указав, что изнасилование подчас сопровождается убийством, а иногда даже и заменяет его, возбуждая в человеке, совершающем такое преступление, одно и то же наслаждение. Один из таких субъектов, которого проститутки называли палачом; перед каждым соитием мучил или убивал несколько куриц, голубей или гусей; другой ранил в продолжение немногих месяцев до 15 молодых женщин, вонзая им в матку нож, и удовлетворяя тем, как он сам сознался, свои половые стремления. Это половое удовольствие — проливать кровь, ранить, колоть перед соитием — совершенно атавистично, судя по тому, что говорит Ломброзо. Поскольку же это случается с отдельными прирожденными преступниками, постольку же этот инстинкт проявляется и в толпе, показывая таким образом другую аналогию между индивидуальной и коллективной криминальной психологией.

веняются на женщин, которых славная или постыдная известность заставляет обратить на них внимание: на мадам Ламбаль, подругу королевы, на Деруэ, вдову известного отравителя, на цветочницу из Палерояля, изуродовавшую весьма жестоко благодаря ревности своего любовника, французского гвардейца. В этих случаях с жестокостью соединяется и похоть, присоединяя таким образом к мучениям — оскорбления, и к угрозам против жизни — угрозы против нравственности. Во время убийства мадам Ламбаль, умершей очень скоро, живодеры эти могли осквернить один только труп; но для Деруэ, и особенно для цветочницы, они с жестокостью Нерона придумали огненные ложа ирокезов. От ирокезов до каннибализма — очень малое расстояние: были случаи, что некоторые переходили и его.

> «*В Аббэ старик-солдат,* — писал Тэн, — *по имени Дамэн, вонзил саблю в бок помощника генерала де Лален, погрузил в отверстие руку, вырвал сердце, поднес его ко рту и стал его разрывать. Кровь, говорит очевидец, текла по его губам, образуя нечто вроде усов. В Форсе была разорвана на части мадам Ламбаль; я не могу описать того, что делал с ее головою парикмахер Шарло; скажу только, что другой, из улицы Сен-Антуан, нес ее сердце и кусал его зубами*».

Здесь можно повторить то, что сказал М. Дюкан по поводу одного аналогичного случая, что это были сумасшедшие и что их место — в Шарантоне, в отделении для буйных.

Мы не говорим о нравственной испорченности прирожденного преступника, которая не повреждает его интеллектуальных способностей; здесь речь идет о настоящем умопомешательстве, выделяющем из среды ему подобных того, кто совершает такие гнусные поступки. Что толпа находилась в состоянии такого именно умопомешательства, мы имеем доказательства не только в гнусности преступлений, ею совершаемых, но и в той

ничтожной степени рассудка, которую она проявляет перед их совершением. Толпа предпочитает убить своих друзей (или по крайней мере тех, кого она считает такими) вместе с врагами, чем ждать, пока они отойдут в сторону.

> «*Во время расстрела заложников,* — рассказывает Дюкан, — *один из коммунаров хватал каждого попа поперек тела и перебрасывал через стену. Последний поп оказал сопротивление и упал, увлекая за собою федералиста. Нетерпеливые убийцы не желали ждать и... убили своего товарища так же быстро, как и попа*».

Это — абсолютно безумное преступление, не имеющее ни причины, ни цели; это — не рассуждающее и ничего не понимающее бешенство, естественное последствие опьянения кровью и выстрелами, криками и вином; это — как говорят вышедшие из сражения арабы — *пороховое* безумие; это — безумие, скажем мы, возвращающее человеку его атавистические влечения, т. к. оно проявляется даже в самых низких животных, вышедших из битвы.

> «*Часто случается,* — говорит Форель, — *что муравьи-амазонки охватываются таким бешенством, что кусают все попадающееся им в челюсти: личинок, своих товарищей, даже своих рабов, которые пытаются их успокоить и стараются держать их своими лапками до тех пор, пока не исчезнет их гнев*».

Толпа тоже доходит до этого, и это уже последняя фаза ее умственной и нравственной испорченности.

IV

Рядом с этой многочисленной толпой, не знающей границ и опускающейся с головокружительной быстротой до самой последней степени зверства, мы здесь

воскресим в памяти деяния других толп, устоявших против чрезвычайно могущественных толчков, гнавших их к преступлению.

Это сравнение не окажется бесполезным.

«В половине мая 1750 г., — **говорится в Histoire du dixhuitième siècle,** *— полиция с большой свирепостью стала усмирять одно из тех периодических восстаний нищих, которые были тогда в ходу. Несколько детей — без всякой видимой причины такого варварства — было вырвано из рук матерей; тогда последние стали оглашать публичные места криками отчаяния. Собирается толпа народа; возбуждение растет; отовсюду показываются осиротелые матери. Одни рассказывают, что полицейские агенты требовали денег за возвращение их детей; другие — пускаются в догадки относительно ожидающей их малюток участи. В народе стала циркулировать гнусная сказка: Людовика XV превращали в Ирода, говоря, что он тоже желает произвести убиение невинных младенцев; шла молва, что доктора советовали ему для поправления потраченного на разгул здоровья принимать ванну из человеческой крови. Поэтому народонаселение начинает вести войну с полицейскими чинами; один из них был убит, многие получили побои. Отель префекта полиции был окружен со всех сторон; сам он удрал через сад. Бешенство толпы достигло своего апогея; поговаривали уже о том, чтобы взять приступом стену, как вдруг один из полицейских офицеров, более неустрашимый, чем его начальник, внезапно открыл ворота. При виде этого народ остановился и не коснулся открытого дома: он отхлынул и, спустя немного, побежал по направлению к Вандомской площади».*

Жиске (*Memoires*, ч. II, с. 129) рассказывает подобный же случай, имевший место в Париже в 1832 г., когда холера опустошала город: «...двое неблагоразумных

пустились бежать, преследуемые тысячами взбешенных людей, обвинявших их в том, что они дали детям отравленную тартинку. Оба преследуемые второпях бросились на гауптвахту, где и укрылись; но караульная в одно мгновенье была окружена толпой; посыпались угрозы, и никто тогда не был бы в силах остановить убийство двух несчастных, если бы полицейскому комиссару Жакмену и старому гражданскому чиновнику Генрики, находившимся там, не пришла в голову счастливая мысль разделить между собою тартинку и съесть ее на глазах всей толпы. Это присутствие духа возбудило тотчас же в толпе смех, взамен ярости. Так мало нужно подчас, чтобы довести ее до бешенства или... успокоить».

Это поведение, говорит Лакретель, вполне понятно, если рассудить, что подобно тому, как волков можно обратить в бегство несколькими ударами кремня по огниву, точно так же и душевные движения, являющиеся благодаря некоторой жестокости или безумию, могут быть уничтожены при первом проявлении спокойствия и энергии.

Совершенно верно, что такое поведение вполне понятно; но только способ, которым его объясняет Лакретель, вполне непонятен.

На предыдущих страницах мы видели, могут ли разрушительные массовые движения уступать влиянию спокойствия и энергии. К несчастью, это бывает очень редко, а если и случается, то причина этого не зависит от какого-либо внешнего влияния, которое внезапно побеждает и укрощает толпу, но заключается в свойствах, присущих самой толпе.

Во время великой революции 1793 г. и мелкого мятежа 1750 г. мотивы, вследствие которых толпа ажитировалась, были неодинаковы, но в психологическом отношении их можно считать сходными.

Я даже полагаю, что мнение народа, будто у него крадут детей для жестокой прихоти короля, гораздо легче толкало его к преступлению, чем абстрактная

идея политической реформы, как бы последняя ни была желательна. Итак, внешний возбудитель, толкавший обе толпы к преступлению, был один и тот же в обоих случаях; но результаты были неодинаковы. Почему же? Потому, что обе толпы антропологически были отличны друг от дружки. Это — единственный ответ, который может быть дан логически.

Скопища, загромождавшие парижские улицы в 1793 г., состояли по большей части из людей, готовых на всевозможные излишества; они состояли еще из сумасшедших и всякого рода выродков, очень легко возбуждаемых, которых, благодаря психической слабости, можно было очень легко увлечь на все крайности. Между тем толпа, принимавшая участие в мятеже 1750 г., состояла исключительно из простонародья, рабочих, отцов и матерей, боявшихся за жизнь своих детей...

Эта толпа, сделавшаяся мятежной, благодаря весьма серьезному мотиву, и выведенная из себя, могла бы, под влиянием численности, дойти до преступлений. Но она внезапно успокоилась, видя доверие и храбрость офицера, и испугалась низкого, чуть-чуть было ею не совершенного преступления.

Такое осмысленное поведение, какое мы видели у толпы, имеет место и по отношению к отдельному лицу, именно у преступника в состоянии аффекта. Его гнев исчезает, и оружие вываливается у него из рук, если вы предстанете перед ним беззащитными или каким-нибудь другим способом сумеете успокоить его и привести в нормальное состояние; и это потому, что преступление, которое он собирался совершить, было следствием минутного умопомешательства; когда оно прошло, у него не хватило духа совершить насилие: он более *не в состоянии его сделать*.

Эта способность опомниться, которая невозможна у прирожденного преступника, тем паче невозможна у толпы, содержащей настоящих преступников и достигшей высшей степени безумия. Думать, будто ее можно

укротить спокойствием и энергией, совершенно то же, что полагать, будто можно укротить спокойствием и энергией убийцу, нападающего на вас ночью среди дороги, или буйного сумасшедшего, который вам угрожает. Сентябрьские убийцы 1793 г. в Париже «не были в состоянии удержаться» от насилия, сказал историк, и героически-спокойное поведение их жертв не могло уменьшить их жажды крови. Нет сомнений, что до такого состояния их довело опьянение этими ужасными минутами; но, кроме того, быть палачами заставляла этих людей их физиологическая и психологическая организация.

Мне пришли на память два новых случая, могущие служить неопровержимым доказательством только что сказанного: два случая, тождественные по своим причинам, но противоположные по результатам: первый, имевший место во время стачек в Деказвиле в 1886 г., второй — римские *события* 8 февраля 1889 г.

26 января 1886 г. рабочие в Деказвильских копях решили приостановить работы.

Предводительствуемые Беделем, приглашенным ими старым рудокопом, они отправились искать инженера Ватрена, главного директора копей, заставили его выйти из канцелярии и с криками потащили в мэрию. Там рабочие изложили программу своих требований.

Первым условием была немедленная отставка Ватрена. Последний отказался исполнить это требование, считая своей прямой обязанностью оставаться на своем посту. Когда он вышел из мэрии, 1800 забастовавших рабочих встретили его криками, предвещавшими недоброе.

Тогда Ватрен скрывается в ближайшем доме и подымается на второй этаж. Толпа начинает кидать в оконные стекла камнями; к стене приставляется лестница, по которой подымается несколько рабочих. Другие, сорвав дверь, врываются в дом, подобно бешеному потоку, прорвавшему плотину. Впереди их — рудокоп с веревкой в руке. Ватрен, слыша, что толпа уже под-

нимается, храбро, с не покидавшим его во весь тот день хладнокровием, открывает дверь комнаты и появляется один среди нападающих. Этот спокойный и энергичный поступок должен бы, по Лакретелю, усмирить толпу; но, к несчастью, в этом случае толпа не состояла из таких, которые могли бы раскаяться и разойтись.

Бедель ударом палки обнажает у Ватрена лобную кость; инженер Шабу тщетно старается защитить Ватрена: другой рабочий, Бассинэ, пускает ему в голову комнатную дверь. Тогда деказвильский мэр умоляет Ватрена уступить и подписать отставку. Последний, почти потеряв сознание и ничего не видя от натекшей ему на глаза крови, позволяет увлечь себя к столу, где и приготовляется писать. Мэр подбегает к окну и, надеясь успокоить толпу, объявляет, что Ватрен подписывает отставку.

Ответом на его слова был бешеный крик: «Не нужна нам его отставка; давай сюда его шкуру!».

Ватрен был схвачен тремя рудокопами, которые поднесли его к окну и выбросили головой вниз на улицу. Упав на мостовую, он раскроил себе череп. Толпа тотчас окружила его, стала топтать ногами, рвать с него одежду, рвать волосы... наконец удалось вырвать умирающего из рук этих диких зверей и перенести в госпиталь. К полночи Ватрен был мертв. Кто же были его убийцами? Честные ли работники, ведшие до сих пор образцовую жизнь и обращенные внезапно в жестоких злодеев благодаря неизвестному и могущественному влиянию численности? Вот кто был в числе убийц: *Грантер*, рабочий с весьма дурной репутацией: «совиная голова, дрянной малый, колотивший нещадно свою жену»; *Шапсаль*, трижды приговоренный к наказанию за нанесение побоев и ран и один раз — за воровство; *Блан*, обвинявшийся тоже в нанесении побоев и ран; «плоская голова, с челюстями хищного зверя»; *Луи Бедель*, один раз присужденный к наказанию за воровство и дважды за нанесение побоев и ран. Последний предлагал даже «убить кого угодно за 50 франков»; он

хотел образовать шайку «для грабежа по деревням». Едва он успел совершить свое преступление, как отправился в кофейню играть в карты.

Все это — субъекты, имевшие в самих себе причину совершенных ими крайностей, которым народное возбуждение дало только возможность развернуться.

Поведение рабочих в Риме в 1889 г. было совершенно отлично от поведения деказвильских рудокопов.

Они были доведены до отчаяния экономическим кризисом, продолжавшимся очень долгое время и, повидимому, не желавшим исчезать. Возбуждаемые и находясь под влиянием речей, с которым к ним обращались их вожди и которыми они побуждали их требовать силою того, чего они не могли получить, указывая спокойно на свои желания и нужды, они после полудня 8 февраля 1889 г., вооружившись палками, рабочими инструментами и камнями, прошли от моста Ripetta до Испанской площади, без труда прогнав нескольких полицейских сержантов, тщетно пытавшихся удержать их на другой стороне моста. Рабочих было немного; но т. к. они не встречали препятствий, то внушали серьезный страх.

При их приближении окна и двери запирались; те, кто был на улицах, скрылись в домах, дав рабочим возможность доходить до каких угодно крайностей. Страх, который показывали жители, естественно, возбуждал большую смелость в рабочих, которые стали бросать камни по фонарям и разбивать витрины магазинов.

С Испанской площади они перешли в улицу Четырех Фонтанов, направляясь к площади Виктора-Эммануила с глухим шумом толпы, ожидающей только удобного случая, чтобы бурно проявить скрытые в ней в продолжении долгого времени чувства. Дойдя до галереи королевы Маргариты, рабочие вступили в нее с угрозами, думая проникнуть в кафе «du Grand Oprée» и разграбить его. Один офицер, случайно находившийся у дверей, обнажил саблю и крикнул толпе разойтись. Рабочих было около 1000, и к тому же у них в руках

было оружие; тем не менее не было пущено даже ни одного камня, не было оказано никакой попытки к сопротивлению: они все удалились, продолжая свой путь, и, немного спустя, разошлись по домам.

В этом случае, как и в том, который передан Лакретелем, спокойной храбрости одного было достаточно, чтобы заставить толпу понять всю гнусность поступка, который она хотела совершить; и подобно пьяному человеку, которому вылили на голову ушат холодной воды, она возвращается к своим нормальным чувствам.

Против 32 рабочих, которые собственно были виноваты в этих буйствах, был возбужден процесс о разграблении и погроме; но прошлое всех подсудимых было безупречно. В этом, по-моему, и нужно искать причину того, что они хотя и были в состоянии разбить несколько фонарей или витрин, но не допустили увлечь себя до убийства, подобно деказвильским рабочим.

В ноябре 1831 г. рабочие, служившие на лионских шелковых фабриках, потребовали увеличения заработной платы, на что не получили удовлетворения. Тогда они произвели стачку и восстали против полиции, которая имела неблагоразумие вмешаться в их дело. По странному стечению обстоятельств они стали хозяевами города и заставили войска удалиться в Макон. Были сооружены баррикады, и произошло сражение с солдатами: весь город был охвачен паникой. Но лишь только рабочие почувствовали себя хозяевами, как совершенно успокоились, точно по волшебству: не был разграблен ни один магазин; ни в одном доме не было тронуто имущество, и когда, спустя несколько дней, войска с герцогом Орлеанским и маршалом Сультом во главе вошли в город, то нашли его весьма спокойным; сами рабочие, раскаиваясь, так сказать, в своих поступках, не оказали никакого сопротивления водворению властей туда, откуда они были ими изгнаны.

Таким образом, мне кажется ясным, что антропологический состав толпы оказывает известное влияние на поступки, которые она совершает; толпа хороших лю-

дей может пойти по дурной дороге, но она никогда не дойдет до той степени испорченности, до какой может дойти толпа дурных людей.

Необходимо еще прибавить, касаясь антропологического состава толпы, что не только присутствие в толпе настоящих преступников, но даже и таких лиц, которые, будучи честными, имеют слабое отвращение к крови и на которых ее пролитие не оказывает большого впечатления, может иметь роковой исход. Многие из них, находясь в миролюбивой и честной среде, дали бы вполне законный исход своим наклонностям, занимаясь известными ремеслами или профессиями, которые для человека чувствительного и сострадательного кажутся жестокими, как, например, профессии мясника, солдата или хирурга. Раз они находятся в толпе, то ясно, что им будет легче, чем другим, совершить какое-нибудь преступление.

> «*Известно,* — писал Проаль, — *что во время различных революций, обагрявших кровью Францию, особенно выходящую из ряда жестокость выказывали преимущественно мясники, и что при Карле VI они проливали кровь ручьями*».

Одним из самых горячих революционеров 1793 г. был мясник Лежандр, которому Ланжюинэ сказал: «прежде чем убить меня, сделай так, чтобы я превратился в быка».

Даже и среди индивидуальных преступников большая часть состоит из тех лиц, которые занимаются жестокими профессиями и ремеслами.

> «*Между наиболее новыми „распарывателями" женщин,* — писал Кор, — *нужно упомянуть Авинена, ремеслом мясника, Биллуара, старого солдата, и Лебьеза, ех-студента медицины. Гюи Патен в одном из своих писем к Спону рассказывает о дерзкой краже у герцогини Орлеанской, сопровождавшейся исчезновением из дома камердинера; тело его нашли*

в отхожем месте, разрубленным на четыре части. Убийцами и ворами оказались два лакея, бывшие раньше цирюльниками».

Сю на своем *Шуринере* в «Парижских тайнах» замечательно удачно изобразил это влияние ужасного ремесла мясника на человеческие чувства. Впрочем, уже много раз было сделано наблюдение, что все вообще профессии, внушающие презрение к жизни (собственной или чужой, человеческой или животного), порождают или, вернее, развивают кровавые инстинкты. Доказательством этому может служить ремесло солдата. Что касается известных храбрецов и героев, то разве в них нет наклонностей преступника! Разве Ричард Львиное Сердце не ел мяса сарацин и не находил его *нежным* и *сладким*?

Но, признавая силу и значение всех этих более или менее значительных предрасположений к преступлениям, мы не можем не видеть, что если порядочные люди портятся, а дурные и жестокие одерживают верх и имеют возможность действовать, — то это зависит также от духа толпы. При всем том, мы не разрешили еще чисто юридического вопроса: какова должна быть ответственность за преступления, совершенные под влиянием целой разъяренной толпы? В следующей главе мы попытаемся его разрешить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

I

Наполеон, после тщательного изучения действий Конвента, сказал: «les crimes collectifs n'engagent presonne» (массовые преступления не вменяемы).

Но эта фраза являлась только констатированием факта; она не была, да и не могла быть, научной истиной.

Наука ясно понимает, что неответственность за преступления, совершенные среди толпы, не может быть признаваема, т. к. социальный организм, подобно всякому другому организму, всегда реагирует против того, кто покушается на его жизненные условия (в этом случае так же, как и во всех других).

Подчиняться этой реакции — значить быть ответственным; если реакция является роковой и необходимой, то и ответственность будет также роковой и необходимой. Но кто же будет в ответе?

Здравый смысл — одним из своих лаконических решений, которые часто бывают ошибочны, но вместе с тем подчас и очень точны, — переработав при помощи размышления то, что позитивное исследование фактов подтвердило гораздо позже, дает следующий ответ: должна быть в ответе вся толпа. И наука, стараясь выяснить как можно более причин, обусловливающих преступления, совершаемые толпой, и заметив, что эти причины так перемешаны и перепутаны между собою, что не может быть и речи о частном значении каждой из них, была принуждена, чтобы быть справедливой и искренней, от-

ветить, подобно здравому смыслу: ответственности подлежит вся толпа.

Ответственность должна падать на толпу, несмотря на всю неопределенность последней, как имени собирательного, ибо в одной только толпе заключаются все факторы, как антропологические, так и социальные, влияющие сообща на появление преступлений, совершаемых ее членами. Чувствуется, что было бы ошибочно взваливать ответственность на более определенное и ясно выраженное целое — на отдельное лицо, т. к. в индивиде не заключаются *все* факторы такого рода преступлений; в нем скорее только одна причина, чем совокупность всех причин.

Но возможно ли, чтобы вся толпа была в ответе? Возможно ли в наше время такая коллективная ответственность?

В старину коллективная ответственность была единственной формой ответственности. Даже в том случае, когда было известно, что данное преступление совершено одним лицом, к ответу привлекалось не оно одно, но с ним вместе его семья, его клан, его триба. Древние законы распространяли наказание, к которому был присужден преступник, на его жену, детей, братьев, подчас даже и на родителей[1].

В те первобытные времена всякая естественно-образовавшаяся группа, вроде трибы или семьи, представляла собой неделимое и неразрывное целое. Личность была только частью, а не чем-то целым; ее считали не организмом, а только органом. Карать только его одного — считалось абсурдом, точно так же, как мы теперь считаем нелепостью наказать какую-нибудь одну часть человеческого тела.

Впоследствии, с прогрессом цивилизации, развивалась и ответственность, все более и более индивидуали-

[1] Полуцивилизованные государства древнего Востока налагали на всех, начиная с жены и кончая детьми преступника, то же наказание, что и на него самого. В Египте вся семья заговорщика осуждалась на смерть.

зируясь. До конца прошлого века еще оставались кое-какие следы древней доктрины, преимущественно по отношению к некоторым политическим и религиозным преступлениям; так, например, в XVII столетии почти во всех европейских государствах семейства политических преступников были изгоняемы из своей родины, но теперь всякие следы этой доктрины исчезли. В наше время семьи осужденных уже более не изгоняются; дети преступников не носят на своем челе печати бесславия; одна только привычка делает то, что мы сохраняем еще некоторое предубеждение против семьи преступника. Но оно может быть зависит от нашего внутреннего голоса, хорошо знакомого с могучим законом наследственности? Этого мы не знаем: тем не менее ясно, что в таком предубеждении играет роль не один только социальный предрассудок.

В наше время закон индивидуализировал ответственность; теперь нельзя, как некогда, сказать: такая-то семья совершила преступление, ее нужно наказать; теперь говорят: такое-то лицо его совершило, и оно должно быть наказано.

Однако исчезла древняя нелепая идея коллективной ответственности, и ее место заняла другая, аналогичная ей в некотором отношении и, конечно, гораздо более научная: я говорю о той ответственности, которую мы приписываем социальной среде.

Мы знаем, что всякое преступление, как и всякий вообще человеческий поступок, является результатом действий двух сил: индивидуального характера и социальной среды.

Ответственность за известное преступление мы всегда сваливаем, хотя и в различном отношении, на этот *характер* и эту *среду*: это и есть в наше время коллективная ответственность. При зарождении уголовного права говорилось: лицо, совершившее преступление, виновно, и вместе с ним виновны его семья и вся его триба. В настоящее время, когда уголовное право достигло самой высокой степени развития, говорят:

лицо, совершившее преступление, виновно, точно так же как и та среда, которая дала ему возможность совершить это преступление.

Таким образом изменены термины, хотя и не настолько глубоко, чтобы это положение потеряло свое значение; перемена произошла преимущественно в мотивах, вызывавших эти заключения, которые все-таки приводят к одному и тому же: к коллективной ответственности.

При всем том, между следствиями, вытекающими из этих двух заключений, существует громадное практическое различие.

В древнее время считались виновными как совершившие преступление, так и его семья, и оба они преследовались совершенно одинаково. В наше время ответственным считается и преступник, и окружающая его среда; но реакция, *наказание* — сохраню это старое слово, — налагается только на виновное лицо. В прежнее время ответственность индивида и его семьи существовала на самом деле, в том смысле, что и индивид, и его семья подвергались одному и тому же наказанию; в настоящее же время ответственность той среды, где живет индивид, совершенно *призрачна*, в том смысле, что среда не подвергается реакции, никогда не наказывается, и вместо того, чтобы быть в прямом отношении с ответственностью отдельного лица, она находится с ней в обратном отношении, т. к. чем больше ответственность среды и тем она меньше по отношению к индивиду, и чем более среда является виновной в данном преступлении, тем менее сильна остальная реакция против индивида.

Все или почти все причины убийств, сопровождаемых грабежом, находятся в совершившем их лице, вот почему социальная реакция против преступника в этом случае очень сильна. Причины убийства, совершаемого в состоянии аффекта, наоборот, лежат большею частью в окружающей среде, и только часть их, да и то весьма малая, находится в самом преступнике; вот

почему в этом случае социальная реакция против лица, совершившего преступление, гораздо меньше.

Если мы докажем, что причины преступления известного лица лежат целиком в окружающей среде, и что среда должна поэтому нести на себе всю ответственность, то нельзя будет поднять преследования против этого лица: с уголовной точки зрения оно не будет ответственно.

Если грабитель на большой дороге нападает на меня ночью, и я, защищаясь, убиваю его, то я не подлежу никакой ответственности, т. к. причины преступления, а следовательно и ответственность за него, целиком находятся в зависимости от среды, от незаконного нападения грабителя.

Исходя из этих общих размышлений можно составить себе следующее резюме: сказав, что вся толпа должна быть в ответе за преступления ее членов, мы только приложили к специальному, более ясному, чем другие, случаю современную теорию коллективной ответственности, которая видит причины всякого преступления не только в индивиде, но также и в окружающей его среде. Однако как среда не может вообще испытывать на себе какой-нибудь реакции вследствие нынешней индивидуализации ответственности, точно так же не может ей подлежать и толпа. Итак единственным ответчиком остается индивид; но т. к. его ответственность обратно пропорциональна ответственности целой толпы (среды), то необходимо исследовать, вся ли ответственность за преступление должна *целиком* падать на толпу, т. к. в этом случае индивид делается неответственным, или только *какая-нибудь ее часть*, т. к., только сообразуясь с этим, можно установить степень социальной реакции против индивида.

Наконец, в этом случае, как и во всех других, мы должны еще исследовать ту степень опасности для общества, которую представляет виновный. Эта опасность является, по учению позитивной школы, весьма различной, т. к. она обратно пропорциональна числу и интенсивности внешних обстоятельств.

II

Итак, вопрос должен быть поставлен в следующей форме: следует ли опасаться того, кто совершит преступление среди толпы народа? Если — да, то в какой степени? То есть представляет ли этот человек, помещенный вне возбужденной и разгневанной толпы, освобожденный от тысячи внушений, толкавших его к преступлению, и приведенный в нормальное состояние, какую-нибудь опасность для общества? Возможно ли, чтобы честный человек позволил толпе увлечь себя ко злу, получил припадок сумасшествия, которое, раз оно прошло, не оставляет после себя никаких следов, и поэтому он не должен был подвергаться уголовному возмездию.

Для того чтобы ответить на этот вопрос настоящим образом, нужно знать не только теоретически, но и вообще для всякого частного случая, какова в толпе сила внушения, а также как велико влияние ее испорченности на данного человека. Необходимо знать, обладает ли она на самом деле тем ужасным и удивительным обаянием, которое способно преобразовать в убийцу глубоко честного человека. Может ли толпа сделать такое чудо? В первой главе было разъяснено, что волнение, оказываемое толпою на ее составные единицы, есть не что иное, как явление внушения. Таким образом, мы можем дать ответ на заданный нами вопрос, исследуя, как действуют на индивида внушение, и как велико его действие. К несчастью, мы не в состоянии сделать такого рода исследования над внушением, получаемым во время бодрствования, т. к. этот вопрос до сих пор изучен очень мало; но мы будем делать эти исследования над состоянием гипноза, представляющим нам обширное поле для наблюдений и опытов.

Это ничуть не уменьшит значения нашего исследования, т. к. хотя внушение, исходящее от толпы, и получается в состоянии бодрствования, однако всякому известно, что такого рода внушение является первой степенью гипнотического внушения. Рассуждение, приложимое к первому, вполне приложимо и ко второму.

Единственным различием будет то, что в гипнотическом сне внушение имеет гораздо более силы, чем в нормальном состоянии.

«*Гипнотическое внушение,* — говорит Лядам, — *действует на больной и усыпленный мозг совершенно так же, как и обыкновенное внушение, когда человек уверяет других в том, в чем он желает их убедить. Гипнотическое внушение тождественно с убеждением, которое имеет место в нормальном состоянии; оно только значительно усиливает могущество оказываемого нами на других влияния, подавляя сопротивление, существующее в состоянии бодрствования*».

Итак, возможно ли при помощи гипнотического внушения заставить человека совершить какое угодно преступление? Возможно ли совершенно уничтожить его личное «я» и направить его к совершению поступков, которых он никогда не совершил бы, будучи в состоянии бодрствования и имея возможность рассуждать?

Если положиться на школу Нанси, то придется ответить утвердительно.

Льебо писал: «Усыпитель может внушить сомнамбулистам что угодно и заставить их исполнять его приказания не только в состоянии сна, но даже и после того, как они проснутся». По его мнению, сомнамбулист слепо повинуется внушению: «он идет к цели с той фатальностью, с какой падает брошенный нами камень». И многие факты могут по-видимому утвердить абсолютную справедливость этого положения.

Рише и Льежуа приводят случаи, доказывающие, что подчас удается насиловать нравственные правила индивида, что можно заставить его забыть самые святые чувства и отвергать самые основные правила нравственности. Так, одна хорошая и добрая дочь, загипнотизированная, выстрелила из пистолета в свою собственную мать. Один честный молодой человек пытался

отравить глубоко им любимую тетку; молодая девушка убивает врача за то, что он плохо ее лечит; другая отравляет неизвестного ей человека.

Но можно ли достичь таких результатов без всякого труда со стороны внушающего, довольствуясь одним только внушением? В большинство случаев — нет. Нужно очень долго бороться с волею гипнотизируемого, и все-таки он оказывает некоторое сопротивление.

Только после целого ряда постепенных внушений индивид может подчиняться опасным и рискованным приказаниям. Всякий раз, как он выказывает некоторое сопротивление или отказывается безусловно повиноваться, повторяют внушение, прибавляя к нему пояснения, делающие его более отчетливым и понятным: т. е. поясняют содержание какого-либо акта целым правильным рядом положительных и отрицательных внушений. При первых словах сомнамбулист часто протестует, но если настоятельно повторять утверждение, ум его колеблется, он, по-видимому, размышляет; кажется, будто в нем просыпается смущающее его воспоминание; наконец приведенный в уныние неустанно нарастающими внушениями, он автоматически им уступает.

Гипнотизируемый повинуется хотя и автоматически, но не без некоторого сопротивления, не без того, чтобы сейчас же впасть в истерию, которая доказывает, чего ему стоило повиноваться полученному приказанию. Это, если можно так выразиться, — *посмертный протест* организма, совершившего против своей воли какой-нибудь поступок, против которого он возмущен, и который внушает ему ужас.

Таким образом, если подчас и верно, что даже в случае упорного сопротивления известного субъекта можно заставить его исполнить данное ему приказание, повторяя внушение все более и более настоятельно и с большой решительностью, то при всем том совершенно нелепо, будто «автоматизм (как утверждает Бони) совершенно абсолютен, так что субъект теряет само-

произвольность и волю, имея их лишь столько, сколько оставляет ему гипнотизирующий; он реализует в самом прямом смысле этого слова известный идеал: быть слепым орудием в руках своего обладателя».

Сомнамбулист всегда, хоть *несколько*, остается самим собою, т. к. он проявляет свою волю, выражая это в тех усилиях, которые ему приходится делать, чтобы противиться внушению. И если подчас он уступает, то это показывает только его индивидуальную слабость, а не всемогущество внушения, прежде чем он совершает воображаемые преступления не без сопротивления, и впоследствии никогда их не повторяет.

Впрочем случаи, когда субъект, имея вообще силу сопротивляться, повинуется внушению, оскорбляющему нравственное чувство, весьма редки. Эти случаи, исследованные преимущественно в школе Сальпетриэр, и доказывают неосновательность мнения школы Нанси. Против уверений Льебо, Льежуа, Бони мы можем выставить наблюдения Шарко, Бруарделя, Фере, Лорана, Дельбефа и других.

> «*Сомнамбулист,* — говорит Жиль Делатурет, — *совсем не машина, которую можно заставить вертеться как угодно: он обладает некоторой индивидуальностью, уменьшенной, правда, до minimum'а, но в некоторых случаях являющейся во всей своей силе». «Сомнамбулист,* — замечает Фере, — *может сопротивляться определенному внушению, находящемуся в противоречии с его основным чувством*», и — прибавляет Бруардель — «*он реализует только приятные или безразличные внушения*». Наконец, Питр уверяет, что «*неответственность загипнотизированных субъектов не всегда безусловна*».

Нормальное «я» всегда переживает *«я» ненормальное*, образованное гипнотизером. Если вы попытаетесь заставить *ненормальное «я»* исполнить какой-нибудь поступок, который глубоко, органически противоречит *нормальному «я»*, то вы не будете иметь

никакого успеха. Вот несколько примеров, подтверждающих нам это.

«*В числе пациентов,* — говорит Питр, — *мы имели молодую женщину, которая очень легко поддавалась гипнозу, и над которой без всякого труда можно было проделывать опыты подражательных движений, иллюзий и галлюцинаций. Но было совершенно невозможно заставить ее ударить кого-нибудь. Если приказание такого рода давалось ей очень энергично, то она подымала руки, но сейчас же впадала в летаргию*».

Фере передает аналогичный случай:

«*Одна из наших больных,* — говорит он, — *была страстно влюблена в одного молодого человека, от которого хотя она и терпела очень много, но которого все-таки любила. Если в ней вызывали образ этого человека, она казалась очень опечаленной и имела желание бежать. Но не было ни малейшей возможности внушить ей какой-нибудь поступок, могущий повредить тому, чьей жертвой ей пришлось быть. Между тем всем другим приказаниям она повиновалась совершенно автоматически*».

В двух последних случаях препятствием к осуществлению внушения было чувство сожаления.

То же происходит, если внушенная идея сталкивается с каким-нибудь другим чувством, раз последнее сильно и заложено глубоко в характере загипнотизированного.

Питр рассказывает случай, могущий служить подтверждением того сопротивления, которое подчас оказывают гипнотизируемые против внушаемых им поступков. «Я усыпляю своего пациента (молодая женщина) и, положив серебряную монету на стол, говорю: когда вы проснетесь, отправьтесь к столу и возьмите эту забытую кем-то серебряную монету; вас никто не увидит; спрячьте монету в карман; это будет маленьким воров-

ством, которое, однако, не может иметь для вас никаких неприятных последствий».

«Потом я ее бужу».

«Она направляется к столу, отыскивает монету и опускает ее, с некоторым колебанием, к себе в карман; но тотчас же вынимает ее и возвращает мне, говоря, что эти деньги не принадлежат ей, и что необходимо отыскать человека, который позабыл их здесь. „Я не хочу держать у себя этой монеты, — сказала она, — это было бы воровством, а я ведь не воровка"».

Жиль Делатурет передает случай, весьма похожий на вышеприведенный: «Однажды, — пишет он, — мы внушили W., что ей очень жарко. Тотчас же она начинает вытирать себе лоб, как будто он был весь в поту, и объявляет, что жара невыносима.

— Идем купаться!

— Как! С вами?

— Почему же нет? Разве вы не знаете, что в море мужчины и женщины без излишней щепетильности купаются вместе?

Это, по-видимому, не кажется ей достаточно убедительным.

— Смелей! Раздевайся!

Она колеблется; наконец распускает себе волосы и снимает обувь; затем следует остановка.

— Ну же! Я приказываю тебе раздеться совершенно!

Она краснеет и, по-видимому, рассуждает с большим трудом; наконец в смущении снимает с себя платье.

— Еще! Еще!

При этом грубом приказании W. кажется страдающей весьма жестоко; она готовится повиноваться, но ее воля оказывает сопротивление; ее стыд гораздо сильнее внушения; все тело ее напрягается, и я едва-едва успеваю вмешаться и прекратить припадок истерии».

Жиль Делатурет прибавляет: «W. весьма стыдлива».

«Ясно, что, только благодаря последнему обстоятельству, она почти бессознательно оказала такое сопротивление, придя к известному нам результату,

т. к. при тех же обстоятельствах Сара Р., не колеблясь, сбрасывает с себя одежду и купается в воображаемом море».

Итак, в этом случае только чувство стыда, весьма сильно развитое в W., мешает ей исполнить внушенное ей приказание; между тем оно, будучи слабее у Сары Р., позволяет ей повиноваться внушению. То же мы можем сказать и о других случаях. Чувство сожаления или честность, смотря по большей или меньшей степени своего развития, или противятся внушению, или позволяют повиноваться ему только после большего или меньшего числа повторенных внушений. Анализируя дальше, мы найдем, что только в *органическом предрасположении*, скрытом, слабом или весьма малом, нужно искать то, что реализация данного внушения возможна или невозможна. Когда для какого-нибудь человека известная идея, безусловно, враждебна, то реализация ее абсолютно невозможна, даже если она внушена ему в состоянии гипноза. Вот заключение, которое выводят почти все самые известные корифеи гипнотизма, и которое было выражено Жане в известной фразе: «Idée inconnue ne suggère rien».

> «*Внушения,* — говорит Кампили, — *должны находиться в согласии с внутренним миром человека; по этой-то причине не все они могут быть приведены в исполнение, а только те, которые человек способен совершить при известных условиях и в известные моменты его жизни*».

Внушение, таким образом, может изменить индивидуальность, уменьшить волю до того, что нельзя будет сказать, существуют ли они, или нет; но что эти индивидуальность и воля не умерли совершенно, доказывает нам их упорное сопротивление известным внушениям, а также и то, что они, если и реализуют эти внушения, то впоследствии реагируют так, что поневоле является представление о *раскаянии организма* в совершении им действий, противоречащих его нормальной природе.

Подобно тому, как в наше время не считается истиной, будто заражение это — «акт, при помощи которого известная болезнь переходит от одного, одержимого ею, к другому, *здоровому*», а говорят, что оно — «акт, при помощи которого известная болезнь переходит от одного, одержимого ею человека, к другому, *более или менее к ней предрасположенному*»; точно так же совершенно ложно мнение, будто внушение может заставить данного человека совершить *какой угодно поступок*; оно может заставить его сделать только то, к чему он *более или менее* предрасположен.

Понятно, нет надобности, чтобы предрасположение в этом случае было также заметно, как и в первом; достаточно, чтобы оно существовало, хотя бы и в незначительной степени; но необходимость его очевидна.

В гипнотическом состоянии происходит по воле гипнотизера то, что вследствие других причин происходит во сне, в сомнамбулизме, в состоянии опьянения, т. е. человек совершает тут такие поступки, которых он никогда не совершил бы в нормальном состоянии; и при всем том его индивидуальность, его «я», как бы оно ни было изменено патологически, всегда стоит на страже. Оно изменено, но не подавлено. Это сравнение между состояниями гипнотизма, сна, сомнамбулизма и опьянения может показаться неточным. В самом деле, можно привести наблюдения, что в состоянии гипноза поступки совершаются благодаря вмешательству воли третьего лица, изменяющего без сомнения своим вмешательством отношения, существующие между действиями и нравственным характером индивида. Между тем в состояниях сна, сомнамбулизма и опьянения нет никакого вмешательства чужой воли, и такой человек как бы он ни был изменен патологически, всегда находится в прямой и полной связи с *нормальным* человеком. Все это, конечно, подтверждает существование коренной разницы между *причинами*, производящими эти различные состояния, но отнюдь не скрывает той *аналогии*, которая существует между следствиями,

вытекающими из этих состояний. Аналогия эта (как было вкратце сказано в тексте) состоит в следующем: во внушении, как во сне, сомнамбулизме, опьянении, — ненормальные условия организма не в состоянии уничтожить индивидуальности: они только уменьшают ее и, конечно, — более во время внушения, чем во время других патологических состояний. Относительно последних можно сказать, что вместо уменьшения они только изменяют и усиливают ее. В самом деле, во сне отражаются самые резкие черты характера данного индивида; привычка, эта управительница человеческой активности, производит то, что индивидуальность спящего воспроизводится целиком, точно нарисованная на картине, хотя немножко скрытая и затемненная среди самых сложных, постоянно меняющихся сцен. Вот почему Булье предлагал особый вид личной ответственности за преступления, совершенные в состоянии сна. Тоже самое можно сказать о сомнамбулизме и опьянении. Всем известна старая и верная пословица: in vino veritas (истина в вине), и вся позитивная школа утверждает, что «спиртные напитки делают человеческие чувства более энергичными и сильными и только уменьшают способность расчетливо рассуждать, производящую обыкновенно то, что мы, благодаря различным причинам, удерживаемся от данного поступка».

Колаяни прекрасно выразился, говоря относительно алкоголя, что «он повышает или уменьшает, смотря по продолжительности действия, *нравственную запретительную силу*, переданную нам по наследству и препятствующую нам следовать всем тем стремлениям, которые могли бы привести нас к преступлениям или просто неприличным поступкам».

То же самое можно сказать и относительно внушения, повторив вместе с Рибо, что в состоянии гипноза переход от идеи к действию тем более быстр, чем менее он встречает препятствий; ничто не может остановить его, т. к. в усыпленном сознании царит только одна внушенная идея.

Таким образом, хотя во время гипноза и гораздо легче, чем во время всякого другого патологического состояния, заставить человека решиться на такие поступки, которые его отталкивают, тем не менее гипнотизируемый субъект (точно так же, как и во сне, сомнамбулизме, опьянении) всегда сохранит, хотя и в более слабой степени, свою индивидуальность.

Если относительно внушения нельзя сказать того же, что относительно произвольного сомнамбулизма, сна и опьянения, — а именно, что человек отражает, как в зеркале, всю свою индивидуальность, — то можно по меньшей мере считать несомненным, что гипноз указывает, к каким действиям данный субъект чувствует естественное и органическое отвращение.

III

Мне кажется, что заключение, к которому мы пришли, до сих пор является само по себе совершенно ясным и логически вытекающим из фактов. Если при гипнотическом внушении, самом сильном и могущественном из всех внушений, нельзя достичь полного уничтожения человеческой индивидуальности, а только одного лишь ее ослабления, то на гораздо большем основании мы можем сказать, что эта индивидуальность сохранится в состоянии бодрствования, даже если бы внушение достигло самой высшей степени, как, например, среди толпы.

Преступление, совершенное индивидом среди разъяренной толпы, всегда будет, таким образом, иметь часть своих мотивов (как бы они ни были малы) в физиологической и психологической организации его виновника. Следовательно, последний всегда будет за него в ответе пред законом.

Истинно честный человек не будет повиноваться преступным приказаниям гипнотизера и точно так же не попадет в тот водоворот эмоций, куда влечет его толпа.

«Когда природа прочно построила умственный организм, — говорит Томази, — *то мы бываем потрясены всевозможными случайностями, но не склоняемся перед ними».*

Должны ли мы отсюда вывести, что те, которые совершают какое-либо преступление, находясь под влиянием народной ярости, все без исключения настоящие преступники?

Это было бы большой ошибкой. В толпе часто находятся прирожденные преступники, но мы не можем говорить, что все, совершающие, благодаря влиянию толпы, какое-либо преступление, были таковыми. Мы скажем только, что они — слабы.

Всякий получает от природы известный характер, дающий известный отпечаток, известную физиономию его поведению и служащий, так сказать, внутренним импульсом, по которому человек и поступает в своей жизни. Чем более глубок и силен этот импульс, чем характер тверже и цельнее, тем скорее человек будет поступать сообразно с ним, не подчиняясь внешним влияниям; точно так же и ружейной пуле тем труднее уклониться от принятого направления под влиянием встречных препятствий, чем больше была та начальная скорость, с которой она была выброшена.

К несчастию, могучие натуры, выходящие с победой из всех соблазнов, избегающие всякого уклонения с принятого ими однажды направления, весьма редки. Если, как говорит Бальзак, существуют *люди-дубы* и *люди-кустарники*, то последние, конечно, составляют большинство. Для большей части людей жизнь является целым рядом уступок, т. к., не имея силы принудить среду приспособиться к себе, они принуждены сами приспособляться к среде.

В этом обширном классе слабых личностей существуют бесконечные переходы от таких, которых Бенедикт назвал *неврастеничными*, не оказывающих никакого сопротивления внешним импульсам, до таких,

которых Серги отметил именем *низкопоклонников*, из подлости подчиняющихся чужой воле и ради выгоды поворачивающихся туда, куда дует ветер; от добрых, но трусливых и легковерных существ, принимающих какую угодно предлагаемую им идею, до людей, меняющихся благодаря непостоянству и раздражительности их темперамента.

Воля, говорит Рибо, подобно уму, имеет своих идиотов и своих гениев со всеми возможными, как в той, так и в другой крайности, оттенками.

Но слабость характера, как бы она ни была достойна презрения, как бы она ни была велика, имеет в общем следующий неминуемый результат: она делает человека более или менее податливым относительно внушений, исходящих из окружающей среды.

> «*В каждом действии лица со слабой волей часть его поступков,* — говорит Рибо, — *определяемая индивидуальным характером,* ***минимальна****, между тем как часть, обусловливаемая внешними обстоятельствами,* ***максимальна***».

Поместите этих людей в благоприятную среду, подвергните влиянию хороших внушений, и они останутся честными, по крайней мере перед лицом закона; наоборот, если их поместить в неблагоприятную среду, окружить вредными внушениями, то они превратятся в случайных преступников или преступников в состоянии аффекта.

Слабость характера заставляет их легко впитывать в себя все, что их окружает: как доброе, так и дурное, причем при одном образе жизни внешние обстоятельства управляют ими легче, чем при другом.

Итак, если подобные метаморфозы происходят в мирной, регулярной, нормальной жизни, то что же будет происходить среди толпы, где в одно мгновение концентрируется такая масса внушений, какой никогда не бывает во всяком другом случае? Не очевидно ли, что все эти личности уступят, и что совершат преступление

даже те честные, но слабые люди, которые, может быть, завтра же обнаружат громадный альтруизм на том же основании, на каком сегодня они позволяют себя увлечь потоком ненависти?

> «*В 1870 г. я видел,* — говорит Жоли, — *как толпа преследовала карету одного генерала, желая во что бы то ни стало выведать у него какой-то политический секрет. В толкотне этой я заметил одного знакомого мне молодого человека, энтузиаста, но тихого и порядочного, трудолюбивого и доброго, безусловно честного. Этот последний вдруг стал громко требовать револьвер, желая стрелять в упорствующего генерала. Если бы у него в руках было оружие, я не ручаюсь за то, что могло бы произойти*».

Как вели бы себя те, которые находились бы в таких же условиях, как и этот молодой человек? Что делали бы они, имея в руках оружие? Можно ли за это назвать их злыми?

Нет, скажем мы: они — только слабохарактерные люди. В них находятся, но только весьма поверхностно, чувства жалости и честности. Более новые слои характера, составляющие физическое основание этих чувств, не могли накопиться в достаточном количестве и покрыть совершенно старые пласты, представляющие собой остатки самых отдаленных образований. Какого-нибудь происшествия, какой-нибудь случайности, глубоко потрясших этих индивидов, вполне достаточно, чтобы изменить их характер. Пласты последнего перемешиваются беспорядочно: более глубокие, подымаясь сразу на поверхность, допускают проявление самых грубых и жестоких инстинктов.

В толпе, *благодаря революции*, происходит то же, и что в частной жизни — *благодаря эволюции*. Коренное изменение характера, начавшееся на первых порах медленно, под влиянием дурных примеров или благодаря развращенному товарищу, — который заставил вас упасть в бездну порока, открыл вам дорогу туда, откуда

нет возврата, — увеличивается все более и более, пока совершенно не изменит человека, пока не уничтожит его характера; — все это происходит в толпе в течение нескольких мгновений.

Кроме постепенного и медленного падения, делающего честного еще человека случайным преступником, а впоследствии и преступником по привычке, в толпе существует мгновенное падение, делающее честного человека преступником в состоянии аффекта.

Вот почему, по моему мнению, большая часть индивидов, находящихся в толпе, доходит до преступления.

Если это так, то какова должна быть самая подходящая социальная реакция?

Прежде чем ответить на этот вопрос, нам нужно будет заняться некоторым другим фактором преступлений толпы, самым важным с психологической точки зрения: я говорю о *мотиве*, благодаря которому совершается данное преступление.

В начале второй главы мы сказали уже несколько слов о том постоянном душевном состоянии большинства, которое дает возможность заметить, что испытываемые им несправедливости и горе образуют отдаленное и неопределенное предрасположение к тем преступлениям, которые может совершить толпа. Здесь мы должны ближе изучить условия, определяющие коллективные преступления.

Толпа не образуется без причины. Отдельные личности не соединяются без всякой цели. Однако эта всегда существующая цель является принадлежностью лишь немногих личностей; большая часть собирается вокруг первой группы только в силу внушения.

Не пробовали ли вы остановиться среди улицы, пристально смотря на какое-нибудь окно, вообще на какуюнибудь точку, или опереться на перила моста, чтобы посмотреть на протекающую под ним воду? В несколько мгновений около вас образуется маленькая кучка народа, и между зеваками вы слышите голоса: «Вот здесь!.. Где!.. вот на дне… его уже нет…»

Внушение бывает до того сильно, что подчас многие видят то, чего нет на самом деле.

То же самое происходит и в том случае, когда цель какого-нибудь собрания важная и серьезная.

Демонстрации образуются всегда меньшим числом людей, чем то, которое в конце концов принимает в них участие. В этом случае подражательное внушение оказывает свое влияние не только *непосредственно*, в том смысле, что к первой группе демонстраторов присоединяются из любопытства уличные праздношатающиеся, но и *косвенным образом*, в том смысле, что большинство, узнав из газет или каким-либо иным образом, что такая-то демонстрация будет в такой-то день и в таком-то месте, скажет себе: — нужно будет пойти посмотреть! — и пойдет туда на самом деле.

Таким образом, во всех сборищах — лиц, знающих истинную их цель, очень мало: большинство идет, как оно само выражается, *посмотреть*.

В этом и заключается психологическое условие первых моментов образования толпы; не следует, однако, полагать, что так дело продолжается долго. Мало-помалу, по мере того, как демонстрация увеличивается и раздалось уже несколько криков или, если речь идет о митинге, по мере того, как речи ораторов зажигают аудиторию, в разнородном агрегате толпы происходит довольно странное явление: разнородность заменяется почти совершенной однородностью. Более трусливые, видя, что дело становится серьезным, удаляются при первом удобном случае; те же, которые остались, волей-неволей доходят до одной и той же степени возбужденности: мотив, соединивший несколько первых индивидов, становится известным всем, проникает в ум каждого, и тогда толпа приобретает единодушие.

Итак, каковы бы ни были поступки, которые совершат впоследствии члены столь сплоченной с этого времени толпы, скрепленной, так сказать, одной общей идеей, — легко понять, что для определения величины требуемой против нее социальной реакции нужно преж-

де всего дать себе ясный отчет в тех мотивах, которые обусловливали ее поведение. Если народ, собравшись в 1750 г. в Париже перед полицейским домом с тем, чтобы протестовать против чудовищной жестокости, приписывавшейся Людовику XV, и убил нескольких правительственных агентов, то можно ли считать это убийство более простительным, чем все те, которые были совершены во время французской революции благодаря одной только непонятной жажде крови? Бороться против несправедливости и гнусности и даже дойти в это время до преступления — совершенно другое дело, чем грабить и убивать благодаря какой-нибудь ничтожной причине или с чисто безнравственной целью.

Таким образом, как для коллективного, так и для индивидуального преступления, мотив, по которому оно совершается, является одним из самых важных пунктов, которыми измеряется степень личной ответственности. Это тем более важно, что мотив, существуя в нескольких индивидах еще до возбуждения толпы и распространяясь понемногу на всех, раньше даже, чем внушение достигнет самой большей степени, является ощущением, которое с большей справедливостью можно приписать каждой отдельной личности, и в котором от нее можно потребовать почти полного отчета.

То, что мы сказали здесь относительно непредвиденных преступлений толпы, еще более приложимо к предумышленным преступлениям большого числа лиц.

Толпа не всегда собирается с тем, чтобы чего-нибудь требовать или против чего-нибудь протестовать; преступление не всегда появляется вдруг, благодаря возбуждению или вследствие психологического брожения, о котором мы говорили выше. Иногда бывает так, что несколько индивидов соединяются с определенной целью произвести в толпе смятение и совершить преступления.

Такого рода пример нам представляет собрание не имевших занятий рабочих в Риме 1 мая 1891 г. Нет сомнения в том, что несколько анархистов отправились, вооруженные, на площадь св. Иерусалимского креста, ду-

мая пустить в ход свое оружие. Один городской сержант был убит ударом кинжала в позвоночный столб, и много лиц ранено. Необходимо, конечно, допустить, что влияние численности, замечательные речи, которые были произнесены, и все другие обстоятельства, увеличивающие интенсивность душевных движений толпы, могли бы увлечь виновных даже к еще большему, толкнуть их на такие крайности, которых они не хотели бы и сами; но ясно, что все-таки в подобных случаях социальная реакция должна быть гораздо строже, чем в других, т. к. здесь дело идет не о неожиданных преступлениях: толпа не *произвела* преступления, она только дала удобный случай, чтобы его можно было совершить.

Понятно, что эти юридические выводы могут быть приложимы только к тем, у которых существовала идея преступления до начала смятения; что же касается других, не имевших определенного плана, то для них имеют силу заключения, сделанные относительно *непредумышленного* преступления.

То же самое рассуждение можно приложить еще к одной форме коллективного преступления, по счастью неизвестной в Европе, но весьма распространенной во многих странах Америки: я говорю о законе Линча. Можно составить себе идею об увеличении в последние годы числа казненных по закону Линча, посмотрев на прилагаемую таблицу.

Год	**Казни, соверш. закон. порядком**	**Казнь Линча**
1884	103	219
1885	108	181
1886	83	133
1887	79	123
1888	87	144
1889	98	175

Судьи Линча еще до совершения преступления знают, что они его совершат: они соединяются даже исключительно с этой целью. Поэтому безразлично, перейдут ли они впоследствии, благодаря вышеотмеченному явлению коллективной психологии, за пределы своего желания или нет: они хотели, и хотели совершенно сознательно, если не *подробностей*, то по крайней мере сущности совершенного ими преступления. Поэтому они могут привести с своей стороны только весьма слабое оправдание.

Однако, повторяю, даже и в том случае, когда преступление предумышленно, не следует забывать его мотивов. Суд Линча (перед которым я вовсе не чувствую ужаса, проявляющегося у многих, хотя я первый признаю, что это — варварская форма сокращенного судопроизводства, не дающая никакой гарантии в справедливости приговора суда Линча), повторяю я, может быть вызван взрывом негодования против какого-нибудь ужасного преступления; в этом случае виновники хотя и должны быть осуждены, но заслуживают большого снисхождения. В наше время самосуд запрещен законом: но в некоторых случаях последний осуждает и всепрощающую кротость. Сын, убивший того, кто оскорбил его мать, есть человек, которого закон может наказать, но которому весь мир протянет руку. Конечно, для суда Линча нет достаточно веских извинений, но нельзя отрицать и того, что часто чувства, из которых исходят судьи Линча, высоконравственны; варварство проявляется только в форме.

Наоборот, бывают варварские расправы Линча, облеченные в варварскую форму и исходящие из низких чувств, против них закон должен направить самое строгое преследование.

Оставим, однако, в стороне эти виды предумышленного коллективного преступления, заслуживающего подробного изучения, но не входящего в нашу задачу, и вернемся к неожиданным преступлениям толпы. Посмотрим, каково будет наказание, или лучше, социаль-

ная реакция для уничтожения этих преступлений, не забывая в то же время дать себе отчет в мотивах, вызвавших эти преступления.

Позитивная школа, по моему мнению, не может дать здесь решительного ответа; еще менее может она дать какую-нибудь формулу, которая была бы приложима ко всем случаям.

В толпе, как мы уже видели, могут быть преступники прирожденные и преступники случайные; не то важно, что они совершили одно и то же преступление. По нашему мнению, наказание должно быть налагаемо не только сообразно со степенью объективной важности преступления, но также сообразуясь со степенью *опасности*, которую представляет собой его виновник; степень же опасности можно измерить только для каждого отдельного случая.

К этому нужно прибавить, что для коллективных преступлений не всегда возможно руководствоваться общими правилами, которые устанавливаются для индивидуального преступления, сообразно с тем, как оно было совершено.

Один преступник, например, убивающий без всякой видимой причины, — *с жестокостью*, выражаясь классически, — всегда должен быть подвергнут *максимальному* наказанию, т. к. *a priori* можно утверждать, что он, судя по его преступлению, или преступник прирожденный, или сумасшедший.

Если бы тот же принцип приложить к коллективному преступлению, то подчас явились бы большие неточности. Какой-нибудь человек, находясь среди толпы, может совершить много убийств, не будучи преступником от рождения. К такого рода крайностям его может толкнуть нравственное опьянение, которое делает его своей жертвой: только после совершения преступления такой субъект начинает понимать, как бы проснувшись от долгого сна, до каких крайностей он себя допустил. В нем просыпается искреннее и мучительное раскаяние, неизвестное преступнику от рождения.

Тэн рассказывает, что во время революции 1793 г. один из таких людей убил в продолжение одного дня пять священников и впоследствии умер от стыда и угрызений совести.

Как нервный кризис, в который впадает загипнотизированный, совершив в состоянии гипноза фиктивное преступление, служит доказательством его органического отвращения к совершенному поступку, точно так же угрызения совести и раскаяние после реального преступления доказывают, что человек не совсем испорчен. Для подобных проступков смертная казнь была бы несправедливой карой.

Таким образом, отвлеченно нельзя установить никакого абсолютного правила.

Здесь более, чем в каком-либо другом месте, нам нужно держаться самого главного принципа нашей школы: указать на форму и количество реакции, сообразуясь с характером каждого отдельного преступника.

Позитивная школа видит, рассматривает и терпеливо исследует бесчисленные причины преступлений толпы; все это ей нужно для того, чтобы с большей компетентностью рассуждать об этом вопросе; но в ней нет никакого стремления дать, на основании изучения этих причин, какой-нибудь более общий вывод, настолько точный, чтобы он мог иметь значение во всех возможных случаях[1]. Что касается нынешнего состояния знания, то, т. к. классическая школа пользуется еще большим почетом, дать такое общее правило является необходимостью.

[1] Рассуждая о преступлениях толпы, необходимо обращать внимание на пол и возраст, т. к. известно, что женщины, дети и даже юноши легче поддаются внушению, чем взрослые. «Детство, — писал Рамбосон, — это расплавленный металл, выливаемый в форму и принимающий какие угодно очертания... Все темпераменты, близкие в темпераменту ребенка, женщины или юноши, скорее всех принимают впечатления извне и заражаются всеми эпидемиями». Лаверн назвал детей *éponges éducables* (воспитательные губки) — название очень меткое, приложимое отчасти и к женщинам.

«Правило это, — сказал я в первом издании моей книжки, — должно быть таким, какое предложено Пюльезе, а именно: постановить, чтобы преступления, совершенные среди толпы, всегда рассматривались, как совершенные индивидами, несущими только половинную ответственность». Я сам понимал нелепость такого рода извинения отдельного умственного недостатка, т. к. в приноровленной к этому случаю формуле нет справедливости[1]. Последнее особенно резко бросается в глаза, потому что формула эта относится не только к случайному преступнику (по отношению к которому она была бы справедлива по своим последствиям), но и к преступнику прирожденному, для которого она совершенно несправедлива и является одной из тех поблажек, которые ему подчас делает закон. При всем том я не мог найти лучшей формулы.

Гарофало, разбирая мое сочинение, нашел легкое средство согласовать идеи позитивной школы со статьями закона.

> «*Я полагаю,* — писал он, — *что именно относительно того предмета, о котором идет речь, современное законодательство и применяется некоторым образом практически к различию, устанавливаемому Сигеле между прирожденным преступником и случайным, виновными в одних и тех же преступлениях, совершенных под влиянием толпы. В самом деле, если это различие возможно, то почему бы не наложить наказания во всей его жестокости на прирожденного преступника и, между тем, снисходительно относиться к преступнику в состоянии страсти, принимая во внимание отдельный умст-*

[1] Современная психиатрия доказала ложность мнения древней психиатрии, полагавшей, что какой-нибудь человек может быть в одно и то же время более или менее сумасшедшим и умственно здоровым, сумасшедшим — с точки зрения известных чувств или известных идей. В наше время все согласны с Маудсли, что если *кто-либо сумасшедший, то он таков до конца ногтей.*

венный недостаток или какие-нибудь другие оправдания?

Почему Сигеле провозглашает полуответственность для тех, кто выбросил из окна Ватрена, имея в руках доказательства того, что они — прирожденные преступники?

Известно, что современное законодательство не принимает во внимание признаваемых нашей школой категорий загипнотизированных преступников. Но т. к. оно признает всякие снисхождения и оправдания, хотя это и не чисто научно, то на практике случается весьма часто, что на виновников одного и того же преступления смотрят совершенно различно, сообразно с индивидуальным характером каждого (что ежедневно случается с судьями, с властями, с присяжными)».

Мне остается только согласиться с этими словами, заметив, между прочим, что предложение Гарофало встретит некоторые затруднения. Так как смягчающие вину обстоятельства, вытекающие из того факта, что преступление совершено под влиянием ярости целой толпы, весьма *обобщены* нами, то судья может быть поймет не всегда, почему они должны быть приложимы к одному (случайному преступнику) или неприложимы к другому (преступнику прирожденному). Если какой-нибудь мошенник и какой-нибудь честный человек, будучи одинаково возбуждены, ответят на возбуждение одинаковым преступлением, то мы можем легко увидеть разницу в наказании, т. к. обращаем внимание на преступника, а не на преступление, но иные судьи, обращающие внимание только на преступление, будут уверены, что для того чтобы логично выполнить свой долг, необходимо назначить одно и то же наказание.

Будем, однако, довольствоваться надеждой на то, что здравый смысл судей применит наши идеи к преступлениям толпы, и что они глубоко проникнут в законы. В ожидании этого, изучение явлений коллектив-

ного преступления будет приготовлением почвы для законодательных реформ. «Целью и обязанностью писателя, — сказал Филанжиери, — должно быть сообщение полезного материала тем, которые стоят у руля правления».

ДОПОЛНЕНИЕ

ДЕСПОТИЗМ БОЛЬШИНСТВА И КОЛЛЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

По всей вероятности, читатель (если только у него хватило терпения дойти до этого места) не забыл теории *подражания-внушения*, развитой нами под влиянием Тарда в первой главе этого сочинения.

Мне кажется, что эта теория, приложенная к конституционному праву, могла бы пролить свет на принцип преимущества, оказываемого большинству, — принцип, служащий ныне основанием политической жизни цивилизованных стран.

Вот почему я прибавляю в виде дополнения эти краткие замечания, желая только слегка коснуться вопроса, заслуживающего, по моему мнению, более подробного изучения.

Против деспотизма большинства храбро борются, хотя и с разных точек зрения, два отряда мыслителей: один может быть более многочисленный и, следовательно, сильный, это — *индивидуалисты*, другой я назову *аристократами*, отложив на некоторое время объяснение этого слова.

Индивидуалисты, исходя от Ст. Милля и Спенсера, стремятся, как указывает само их название, к единственной цели, справедливой и, по-моему, неоспоримой: увеличить права личности за счет прав государства, расширяющихся ежедневно все более и более.

> «*В прошлом функцией либерализма,* — пишет Спенсер, — *было — наложить границы на могущество королей; функцией настоящего либерализма в*

будущем будет ограничение могущества парламента».

До него Ст. Милль произнес слова, относящиеся хотя и к другому случаю, однако, выражающие мысль, аналогичную мысли Спенсера:

> «*Если бы весь человеческий род, исключая одного человека, имел одно и то же мнение, а этот человек держался противоположного мнения, то человечество не имело бы права заставить его молчать, точно так же, как и этот человек не имел бы права (если бы был в состоянии) заставить молчать человечество*».

Итак, Спенсер и Милль желают уважения к меньшинству, чему, я уверен, никто не станет противоречить. Можно спорить о свойствах тех границ, которые нужно наложить на права большинства, но никто не осмелится отвергать того, что наложить их необходимо.

Оба цитируемые мною автора, а с ними, понятно, и их ученики, вовсе не уничтожают арифметического принципа, на котором зиждется вся наша политика; они допускают, что численность должна быть единственным судьей во всех решениях, которые имеют право принять государство и, следовательно, парламент; они желали только уменьшить, насколько возможно, функции, возложенные на государство, а следовательно — и решения, которые оно должно принимать, с тем чтобы предоставить личности как можно более свободы и удобств.

Названные мною *аристократами* предполагают, наоборот, что деспотизм большинства — нелепость, и вот почему: большинство, говорят они, является, да и не может не являться, пошлым и посредственным в умственном отношении; позволять ему управлять собою — все равно, что вручить скипетр в руки посредственности. Логика требует, чтобы миром управляли более интеллигентные, находящиеся в весьма ограниченном количестве, вместо того, чтобы дать управление в руки менее интеллигентных, находящихся в весьма боль-

шом количестве. Нелепо, чтобы голоса 100 крестьян или 100 рабочих равнялись голосу 100 культурных людей.

Следуя, как видно, примеру Карлейля, они преклоняются перед гением, делая его своим идолом, и питают ужасное презрение к филистерам (вот почему я назвал их аристократами), они отказывают последним в каких бы то ни было правах, давая первым привилегию управлять миром.

Говоря откровенно, если хорошо подумать относительно всеобщей подачи голосов, не придерживаясь предвзятых политических идей, то является сильное желание задать себе вопрос: почему, на основании какой невидимой причины, дворник или уличный точильщик имеют голос равный, предположим, голосу Спенсера? Дойдя до этого, вопрос, я полагаю, может быть разрешен только единственным образом, а именно: приходится допустить отсутствие логики в законе, который, вопреки тому, что происходит в жизни, подводит под один уровень две неодинаковые личности.

Но после более глубокого исследования первое впечатление меняется, и даже очень.

В самом деле, положительно ли достоверно, что если преимущество оказывается большинству, то всегда одерживает верх образ мыслей и мнение лиц с посредственным интеллектуальным уровнем, сильных только благодаря численности? Не более ли достоверно, что только сама данная идея привлекает к себе большинство голосов, — идея, имеющая, очевидно, в себе большую привлекательность и родившаяся, следовательно, в голове великого человека?

Не знаю, удачно ли мои слова выражают мою мысль, но мне кажется, что с этого пункта можно предусмотреть, на что я мечу, и каковы следствия, которые можно извлечь от приложения коллективной психологии к конституционному праву.

Бросим взгляд на историю.

В древнее время, когда царила физическая сила, кто был начальником трибы или клана? Самый ли слабый?

Попозже, когда к физической силе присоединилась и интеллектуальная, управляли ли народом дураки?

Благодаря ли только террору и лицемерию сильные и энергичные люди управляли массами?

> «*Нет, это объяснение,* — говорит Тард, — *очевидно, неудовлетворительно. Они были во главе, благодаря внушаемому ими обаянию. Примера с гипнотизером достаточно, чтобы понять глубокий смысл этого слова. Гипнотизер не имеет нужды лгать, чтобы внушить к себе слепое доверие со стороны гипнотизируемого; ему не нужно устрашать, чтобы достичь пассивного повиновения. Он очаровывает, вот и все. По моему мнению, это значит, что в гипнотизируемом заключается некоторая потенциальная сила веры и желаний по отношению ко всевозможным воспоминаниям, усыпленным, но не умершим, которые эта сила стремится привести в движение, как воду, поднявшуюся в пруде и не находящую себе выхода, и что, вследствие особых обстоятельств, один только гипнотизер может открыть ей необходимый выход. Посмотрим ближе, и всякое обаяние окажется именно таким... Сколько великих людей, от Рамзеса до Александра, от Александра до Магомета, от Магомета до Наполеона, овладели таким образом народным духом! Сколько раз продолжительная фиксация такой блестящей точки, как человеческий гений или слава, заставляли впадать в каталепсию целые народы*»[1].

Итак, если посоветоваться с историей, если принять, что слова Тарда могут быть обобщены и приложены ко всем людям, — военачальникам, мыслителям, артистам, — управлявшим и управляющим массой, то можем ли мы сказать, что большинство само по себе произвольно подняло этих людей на пьедестал славы? Это, пожалуй, и скажут; но истина будет заключаться в том, что

[1] *Тард Г.* Законы подражания: Пер. с фр. СПб., 1893.

эти люди сами указали на себя большинству, которое бессознательно последовало за ними, подобно тому, как загипнотизированный следует за своим усыпителем.

Оставляя в стороне эти примеры, представляющие только несколько исключений, мы можем себя спросить, не происходит ли то, что бывает с гениями, более или менее и со всеми людьми, превосходящими в чем-либо других? На каком основании закон внушения теряет здесь все свое могущество?

Легко понять, что нет никакой причины оправдывать это исключение, т. к. известно, на основании ежедневных фактов, что внушение сохраняет бесспорное могущество во всех формах человеческой деятельности.

Средневековый режим, допускавший, чтобы тот, у кого была более сильная рука и более смелое сердце, строил свое «соколиное гнездо» на вершине горы, тогда как более смирные собирались в покинутых им хижинах, но подчинялись его власти, — существует и теперь, хотя обычаи уже и не те. В наше время тот, у кого более ума, смелости, знания жизни, кто в состоянии внушить другим более доверия, подымается над всеми и увлекает за собою толпу помимо ее сознания.

В религии, в науке, в политике, в торговых делах, в каких угодно проявлениях человеческого духа, везде вы видите, что вокруг немногих или даже одного лица образуется целая группа индивидов. Они образуют церковь, школу, класс, партию и сражаются, подобно солдатам, находясь под влиянием (suggestion) начальника, лучше других олицетворяющего известное чувство, известное благо, известную идею.

Таким образом, когда, касаясь какого-нибудь вопроса, говорят: большинство — такого-то мнения, то этим указывают на явление, которое должно быть, собственно говоря, выражено следующим образом: *мнение X. внушено большинству*. Это значит, что мнение данного лица (сегодня это — оратор, завтра — журналист и т. д.) имеет в себе столько силы, что обратило на себя внимание толпы гораздо больше, чем какое-нибудь другое мнение.

«*Иметь только внушенные идеи и считать их самопроизвольными — вот,* — говорит Тард, — *иллюзия, свойственная сомнамбулисту и человеку, рассматриваемому, как социальная единица*».

Возвращаясь теперь к вопросу, заданному себе нами выше, мы можем ответить нашим оппонентам, что они ошибаются, думая, будто деспотизм большинства является триумфом пошлости; что неверно, будто мир управляется менее интеллигентными, находящимися в большом числе, но что, наоборот, те, которые находятся в очень малом числе, т. е. самые интеллигентные, и увлекают за собою общество, внушая ему свое желание.

Верховное право большинства кажется поверхностному наблюдателю триумфом численности, между тем как в сущности оно — бессознательное подчинение посредственностей людям с высшим развитием. Вот что, между прочим, говорит Милль: «управление посредственностей может быть только посредственным управлением. Ни одно государство, управляемое демократией или многочисленной аристократией, не могло никогда подняться выше посредственности ни в своем политическом поведении, ни в своих мнениях и обычаях; противоположное могло быть только там, где *народ-правитель позволял одному или нескольким, одаренным большим талантом и более образованным, чем масса, людям руководить собою, подавать совет*». Если понимать эти слова буквально, то можно сказать, что то, что Милль считает исключением, есть правило, т. к. *народ всегда позволяет руководить собой высокоталантливым и более, чем масса, образованным людям*. Если объяснять эти слова, принимая во внимание того, кто их писал, то придется согласиться с Миллем, т. к. по необходимости нужно допустить, что раз тот, кто руководит толпой, — человек гениальный, то жизнь такого народа более сильна, чем она была бы, если бы ею управлял человек с обыкновенными способностями.

Я предвижу здесь одно вполне естественное возражение.

Неверно, скажет кто-нибудь, будто большинство преклоняется тотчас же перед великими людьми, идет ли речь о политике, искусстве или науке. Талантливые люди почти всегда остаются изолированными во время своей жизни, т. к. им приходится бороться против общественного *мизонеизма* (страха перед новшествами).

Это совершенно верно. Но какое же все это имеет значение?

Означает ли это, что в мире одерживают верх только посредственные идеи, и именно потому, что большинство, т. е. те, которые, по-видимому, управляют, представляют собой посредственность? Перед нами история всего мира, могущая доказать нам, что одни только полезные идеи были приняты и увековечены большинством. Не вы ли сами допускаете, что идеи, составляющие сегодня исключительное достояние нескольких мыслителей, завтра будут приняты многими, а позже — сделаются достоянием всех? Не вы ли сами допускаете, что если идея, вышедшая из головы какого-нибудь человека, не овладевает головами всех, то это значит, что она, лишь только родившись, была уже достойна смерти?

Не станем же превращать общего принципа в простой вопрос о времени. Существует непосредственно действующее внушение, свойственное преимущественно чувствованиям, и внушение, действующее не непосредственно, свойственное преимущественно идеям. Явление не изменяется во втором случае оттого только, что происходит медленнее.

Посмотрев на мир с более широкой точки зрения, мы увидим, что мнение массы, образуется ли оно быстро или в продолжение долгого времени, всегда берет свое начало от мнения одного человека или немногих лиц. Мы увидим, что внушение распространяется или с быстротой молнии, или же медленно и правильно, и тогда придется согласиться, что желание большинства никогда не равно сумме желаний составляющих его лиц (что дало бы посредственный результат), но скорее является отражением или, так сказать, бессознательным воспро-

изведением желания одного лица.

Если бы кто-нибудь стал упрекать большинство в медленности, с которой подчас происходит в нем явление внушения, то он, по моему мнению, не понял бы благодетельности закона, давшего большинству, предпочтительно перед меньшинством, право заставить свое мнение восторжествовать.

Если стать на точку зрения аристократов, и если бы какое-нибудь государство управлялось деспотически несколькими великими людьми, то, конечно, случилось бы, что много полезных реформ было введено раньше, чем большинство дало бы на то свое согласие.

Меньшинство производило бы реформы, когда они еще не созрели; но ничто не может принести более вреда, чем опрометчивость в такого рода вещах. Если бы, вместо этого, мы позволили известной идее пробивать себе дорогу вполне свободно и получить право гражданства только тогда, когда ее влияние (suggestion) на толпу стало совершившимся фактом, то можно быть уверенным, что идея эта будет осуществлена только в том случае, если она окажется своевременной.

Итак, деспотизм большинства, рассматриваемый с точки зрения коллективной психологии, не представляет собой, как говорят некоторые поверхностные наблюдатели, царства вульгарности. Теперь уже более не доказывают, как хотели иные, на основании принципа — чересчур арифметического для того, чтобы быть безусловно верным в социологии, — что численность это — все.

Так как мнение большинства есть, в сущности, мнение великих людей, медленно проникшее в массу, то деспотизм большинства обращается в *деспотизм гениальных идей, когда последние уже созрели и когда приложение их стало своевременным.*

ОГЛАВЛЕНИЕ